

ВОСПОМИНАНИЯ М.А. КРЕТЧМЕР 1888.

Кретчмер Михаил Адамович (1822-1898).

30-е гг. Детство. Годы учения в Екатеринославском и Чугуевском сиротских отделениях военных кантонистов. Быт, нравы, учителя. Определение кантонистов в Екатеринославский кирасирский полк.



Исторический вестник, март, 1888 г.
т. XXXI, № 3, стр.631-653;

Мои предки. - Отец и его расточительная жизнь. - Его женитьба. - Негодование родителей моей матери на этот брак. - Возвращение отца в г. Дубно и его кончина. - Неосуществившееся намерение матери уехать на родину. - Вторичное замужество моей матери и ее кончина. - Мое пребывание в чужой семье. - Возвращение к отчиму и жизнь у него. - Нельское возмание 1830 года. - Бегство вотчина к мятежникам. - Его распоряжения относительно меня. - Мое несчастное положение. - Жизнь у ресторатора. - Мои странствования от одного помещика к другому.

ПРЕДКИ МОИ были выходцы из Пруссии, приняли русское подданство и поселились жить в Минской губернии, в Пинском уезде. Они, как значится в документах, имели в этом уезде несколько деревень, но это было давно; уже дед мой переехал в г. Дубно, Волынской губ., где и умер, оставив своему единственному сыну состояние, заключавшееся в суконной фабрике и небольшом капитале. Отец мой, получив с 18-ти лет полную свободу, и, при том, от природы склонный к разгульной жизни, в самое непродолжительное время успел промотать фабрику и недвижимость, но, имея еще капитал, поехал в Австрию: одни говорят с коммерческою целью, другие же утверждают, что ему просто пришла фантазия поиграть в Вене в карты на том основании, что в России ему не везет. Не известно, оправдались ли его мечты в отношении выигрыша в Вене, известно лишь только то, что на обратном пути, в г. Краков, он познакомился с семейством матери моей, людьми хорошей фамилии, Массальскими, и при том очень богатыми. В семействе этом было два сына и три дочери; две из них замужня, третья моя мать, девица 16-ти лет, в которую мой отец влюбился, и которая ему тем же отвечала. Отец задумал жениться, но так как он и в г. Кракове вел жизнь самую расточительную и при том не совсем похвальную, то родители моей матери наотрезь ему отказали. Кажется и делу бы конец, но не таков был мой отец: он

остался в Кракове, попрежнему вел жизнь расточительную и безалаберную и, наконец, успел добиться своей цели,- украл мою мать, обвенчался с ней в России и опять возвратился с женою в г. Краков для принесения повинной ей родителям; но расчет оказался ошибочным. Родители не только не приняли их, но даже лишили мою мать наследства. Известно, что поляки жестоко поступают там, где задет их гонор. В котором году это было, наверное, за давностию времени, узнать я не мог, но приблизительно должно было это происходить между 1818 и 1819 годами. Отец мой возвратился с женою обратно домой в г. Дубно, и здесь в 1824 г. умер, прожив почти все, что у него еще сохранилось и оставив меня на втором году моего рождения наследником единственно только своей фамилии. Мать моя, овдовев и располагая очень малыми средствами, умоляла родителей своих простить ей опрометчивый поступок молодости, но они остались непреклонны.

Мать все-таки хотела возвратиться на свою родину и не знаю почему просила об этом не государя, а великаго князя Константина Павловича, от котораго последовал ответ, что она, если ей угодно, может ехать за границу, но так как я родился в России, то и должен в ней остаться. В то время мне было три года; моя мать, любившая меня до обожания, разумеется, не могла на это согласиться. В г. Дубно и окрестностях его, где жила моя мать со мною, квартировал Волынский Пехотный полк, офицеры котораго постоянно бывали в доме отца, при жизни его. Мать моя, как мне передавали, была очень красива и при том необыкновенно доброй души. Она не могла видеть бедности и, забывая о себе, последнее отдавала нуждающимся, а потому многие, даже вовсе не нуждающиеся, эксплуатировали ея доброту. Благодаря ея молодости и симпатичности, претендентов получить ея руку было много; в числе их были люди со средствами, даже большими, но она всем отказывала, во-первых потому, что в ея сердце еще не изгладились воспоминания об отце моем, котораго она до безумия любила, а во-вторых потому, что непременно хотела возвратиться на родину, в г. Краков, и усердно продолжала об этом хлопотать.

По тогдашнему времени, переписка о дозволении матери выехать вместе со мной из России продолжалась бесконечно, а между тем средства ея истощались и, наконец, совершенно изсякли. Неудачный исход ея хлопот до такой степени ее огорчил, что она отчаянно заболела и хотя спустя полгода выздоровела, но красоту свою потеряла. Бывшие претенденты на ея руку или переженились, или перестали к ней являться. Не отставал один только поручик Волынскаго пехотнаго полка, Онуфрий Городецкий, человек не только бедный, но даже из фамилии не дворянской, а просто шляхтич. Но он был не дурен собой, молод и командовал ротой; за этого-то Городецкаго моя мать вторично вышла замуж в 1827 г., не по любви, а для того, чтобы доставить мне воспитание, не надеясь другим способом достичь этого. Но дорогая моя мать не предвидела, что, делая для меня такую жертву, она окончательно губит меня.

Не знаю, хорошо ли жилось матери за вторым мужем; что же касается меня, то я его терпеть не мог, - никакия игрушки и ласки его на меня не действовали, - вероятно, это был детский инстинкт. Второе замужество матери длилось не

долго; в 1828 году, в великую пятницу, она переселилась в вечность. Я помню ее кончину, как бы это случилось вчера. Меня позвали в комнату умирающей, где была мой отчим, несколько близких приятельниц матери и доктор. Она сидела на кровати, обложенная подушками, и так как уже не могла нагнуться, то меня посадили к ней на кровать. Благословляя меня, она не рыдала, но слезы у нее градом лились из глаз. Прижимая меня к себе ослабевшими руками и, крепко, крепко целуя, она наставляла меня учиться хорошо и слушать отца, быть честным, «а добрым ты будешь», - прибавила она - «в этом я уверена и, помни, когда вырастешь, поезжай в Краков и скажи всем, что я их прощаю», - но кому всем, не сказала; вероятно, ее родным. Затем, не выпуская меня, обратилась к отчиму и сказала: «тебя же, Онуфрий, в последний раз, именем Бога, умоляю, жалея и выведи его в люди, я за тебя на том свете буду молить Бога». После этого ей сделалось очень дурно; я кричал: «не умирай, мамочка», и уже не помню, кто отнес меня в мою комнату. Через несколько часов матери не стало.

На другой день были парадная польская, с полковой музыкой, похороны; меня одели в траур и заставили идти за гробом. До кладбища расстояние было довольно большое, я не плакал и ни о чем больше не думал, как только о том, как бы мне ухитриться лечь с нею в гроб. Если бы я мог достигнуть тогда исполнения моего желания, то, действительно, было бы гораздо для меня лучше, чем, прожив столько времени, перенести столько горя и всевозможных лишений, потерять веру в Бога и получить полное разочарование в людях. Передать любовь мою к матери я не в состоянии, да и нет тех слов, которыми бы я хоть слабо мог ее выразить, скажу только, что я ее не подетски любил, а обожал и благоговел пред нею, как перед святынею.

Мать моя по тогдашнему времени была женщина весьма образованная и потому полагаю, что она своим умом и добрым сердцем сумела вселить во мне любовь к себе выше детской. К предсмертным словам «будь честным», я и поднесь свято исполняю. После похорон, прямо с кладбища, одна приятельница моей матери взяла меня к себе в дом к своим детям, одинакового со мною возраста, с которыми я был очень дружен в счастливое мое время. На другой день моего переселения в чужой дом был светлый праздник Воскресения Христова, столь приятный для всех детей, но я его встретил самым грустным образом; со мной сделался бред и хотя меня окружили самым тщательным уходом и доктор не переставал посещать меня во все время моей болезни, однако, я пролежал два месяца.

После выздоровления я пробыл в этом доме еще некоторое время и, затем, меня отвезли к отчиму, в деревню, где была расположена его рота. Отчим сначала меня по-прежнему ласкал, а я по-прежнему его ненавидел, хотя мне каждый день все твердили, что я должен его любить; затем, отчим стал делаться ко мне все холоднее и холоднее, перестал меня ласкать и делать подарки, но все-таки учителя нанял, так как мне пошел уже седьмой год. Быть может, читатель подумает, что такая неблагодарность моя к отчиму происходила от моей нравственной испорченности; нет, напротив, я был самое доброе дитя, какого

только могут желать родители; но я ненавидел отчима прежде безотчетно, и после уже сознательно за то, что он крепко и часто наказывал солдат, которых я любил равно, как и они меня. Не понимаю для чего он, после смерти матери, любил наказывать солдат возле своей квартиры, и хотя я уходил от окон, но несчастные жертвы своим криком и мольбой о помиловании раздирали мне душу. Я пробовал несколько раз просить его, чтобы он смиловался над страдальцами, но никогда не успевал в этом, и он меня всякий раз грубо отталкивал и прогонял.

В 1830 году возстал Польша, не взирая на то, что пользовалась правами и преимуществами несравненно больше коренной России. Она хотела добиться еще большего и потеряла все. В Волынском пехотном полку, где служил мой отчим, больше половины полка были поляки, не только офицеры, но и солдаты. Когда Польша подняла знамя мятежа, то многие офицеры полка, забыв присягу и долг, бежали к мятежникам; в числе их бежал и мой отчим; фамилий изменников я не помню, хотя всех знал.- только один из них остался в моей памяти, майор Иконович, и то потому, что незадолго до бегства, он был из капитанов произведен в майоры, и я всякий раз, когда он приходил, а это было очень часто, любовался его большими, блестящими эполетами.

Не знаю, все ли они захватили своих денщиков, но мой отчим своего, которого звали Волковский, взял с собой; конечно, он был тоже поляк. Приготовления свои к бегству они устраивали очень осторожно и секретно. но все-таки я замечал, что что-то происходит особенное, - во-первых, из дома начали исчезать одна за другой ценные вещи матери моей, а, во-вторых, при сходках своих они говорили очень тихо, и меня постоянно удаляли, чего прежде никогда не было. Когда у них все было приготовлено к постыдному бегству, то отчим разбудил меня ночью, сказав, что едет на три дня по делам службы, а меня оставляет с Ягнусей (служанкой). кормить же нас будут из ближайшего ресторана Борятынского. Дав мне два злота (30 коп.), и, не перекрестив даже меня, он ушел.

Действительно, трактирщик доставлял мне и служанке завтрак, обед и ужин. Сколько времени это продолжалось, не помню. Я забыл сказать, что отчим, прощаясь со мною, строго приказал мне дальше саду никуда не отлучаться из дому, что я и исполнял, хотя мне было очень скучно; ни одна душа не заходила меня навестить. Через несколько времени, Ягнуся, забрав, в одно прекрасное утро, что только могла унести, бежала, так что в большом доме я остался совершенно один. День клонился к вечеру, ночевать в доме одному мне было страшно, я побежал к той приятельнице матери, которая взяла меня к себе после похорон матери и у которой я проболел два месяца. Прислуга ея сказала мне, что господа уехали в деревню и не скоро возвратятся. Я побежал в другой дом П.; он был заперт (вероятно, меня заметили); в третьем доме прислуга сказала мне тоже, что господ нет дома. Я разрыдался и говорил: - «где же мне ночевать, дома один я боюсь». Прислуга уходила и опять возвращалась ко мне (вероятно, вела с господами переговоры) и, не скрывая слез своих от меня, явно сочувствуя детскому моему положению, посоветовала мне отправиться ночевать к ресторатору, который меня кормить, что я и сделал. Он меня принял и положил

спать с своим сыном, немного старше меня, с которым я впоследствии сдружился. Дом отчима оставался не запертым, а потому трактирщик послал туда ночевать свою прислугу. Быть может, читатель подумает, что от меня сторонились, как от прокаженного, какие-нибудь мелкие люди, шляхта; нет, эти люди принадлежали к июльской аристократии и при том богатой, которым не могло составить никакого расчета приютить меня хотя бы временно; причина тому была другая, как я узнал впоследствии. Они боялись, чтобы полиция не открыла их содействия мятежу и побегу офицеров до рухавки.

Мне также сделалось известным потом, что они дали клятву отчиму, как только он бежит, тотчас взять меня к себе и воспитывать наравне с своими детьми, а равно позаботиться и о дальнейшей моей судьбе. Они поступили со мной так жестоко и безчестно от одной лишь трусости. Сдружившись с сыном ресторатора, я ходил с ним, почти каждый день, на реку удить рыбу, в чем оказывал большие успехи. Отец его продолжал хорошо меня кормить, и я был счастлив. В доме отчима я ходил единственно для того, чтобы брать разные вещи, которых просил ресторатор, но чаще он сам забирал их без всякого спроса, потому что ключи от всего находились у него. Тетрадки и книги мои были сложены мною очень аккуратно, но я больше в них не заглядывал, пользуясь вполне свободой.

Сколько времени это продолжалось, не помню. Вдруг нагрянула полиция. Начали меня допрашивать о таких предметах, которых я не только не знал, но и не понимал. Сначала мне дарили конфеты, а после угрожали, но добиться ничего не могли; от ресторатора тоже ничего не узнали, на все вопросы он отвечал: «знать не знаю и ведать не ведаю». Только и могли допытаться от него, что отчим сказал ему, что уезжает на десять дней в отпуск и просил, чтобы он в это время прокормил меня и прислугу и за это уплатил деньги вперед. После этого была сделана опись всем оставшимся вещам отчима, а затем аукцион. Хотя кормилец мой и перетаскал много вещей, но в доме это было не заметно и оставалось еще очень много. Куда девались деньги, вырученные от продажи, я не знаю. Говорят, они были конфискованы в казну, мне же выдали только принадлежащее мне платье и книги. Заступиться за меня охотников не нашлось. Меня также допрашивали, где живут мои родные и ответу моему, что у меня нигде их нет, не поверили; но, затем, собрав справки, а быть может и потому, что меня никто не брал к себе, вынуждены были выдать из денег, полученных от аукциона, небольшую сумму тому же ресторатору на содержание меня в течение трех месяцев, а о том, что делать со мной дальше, представили на благоусмотрение начальства.

Однако, благоусмотрение продолжалось очень долго. Когда мною были проедены деньги, оставленные на мое содержание ресторатору, последний пошел к тому же начальству, и начал требовать вновь денег на тот же предмет, но ему не только ничего не дали, но вытолкали в шею, каковую обиду он выместил на мне тем, что перестал кормить. Положение мое было бы самое критическое, если б его сын не кормил меня тайно; наконец, ресторатор, чтобы избавиться от меня,

придумал такую хитрость: разузнав к кому чаще всех ездил в деревню мой отчим, он нанял лошадей, велел мне собрать все мои пожитки, и мы поехали. Дорогой он говорил мне, что ему писали и просили доставить меня к помещику П., чему я был очень рад потому, что бывая у П., я полюбил их дочь Эльжбету, уже взрослую, которая, смеясь, уверяла меня, что непременно выйдет за меня замуж. В тот же день вечером, мы достигли цели нашего путешествия. Остановившись у парадного крыльца, мой спутник передал меня и мои вещи двум выскочившим казачкам, а сам поворотил лошадей и удрал, не оглядываясь. Меня приняли радушно, но заметно боязливо, к чему я уже привык, потому что все сторонились от меня, как от преступника. Хозяйка дома позвала своего эконома и велела дать моему подводчику сена, овса и ужинать, но когда ей доложили, что он удрал, да еще в карьер, то она растерялась, начала меня допрашивать о малейших подробностях, в особенности о полиции, и, видимо, успокоилась моими ответами.

Об одном только она соболезновала, что ее мужа нет дома, и что он не скоро придет, чему я, наоборот, от души радовался, боясь, чтобы он не прогнал меня. Помню, что любовь моя к панне Эльжбете разом прошла, при том и она сторонилась от меня. Через несколько дней приехал пан П. Я долго не показывался ему, на глаза и порядком трусил, чтобы он не прогнал меня; наконец, меня позвали. Он, лаская меня, до того расчувствовался, что даже прослезился и, утирая свои слезы, говорил, что держать меня у себя не может, а повезет до пана М. А я в это время думал: «врешь, врешь, подлец, ты можешь, да не хочешь».

Однако, не смотря на то, что мне было объявлено о невозможности держать меня, я почему-то прожил довольно долго, кажется, месяца три или около того. После этого срока меня отвезли к пану Р., у того, не помню, сколько я пробыл. Таким порядком меня передавали от одного к другому пану три года. Перевозили меня не только по Дубенскому уезду, но и по двум соседним, и всегда к богатым людям. Везде меня держали не долго; у одной лишь пани маршалковой, предводительши дворянства, я пробыл около года и то потому, что ей нужен был мальчик моих лет, равных ее сыну, для совместных с ним занятий. У них был гувернер превосходный человек, но за то сынок ее был «большая дрянь» и имел пороки не по летам своим. Какой был нации гувернер не знаю, только не поляк и не русский, потому что на обоих этих языках он говорил довольно плохо.

Насколько с каждым днем привязывался ко мне гувернер, настолько сынок пани маршалковой презирал и ненавидел меня за то, что я учился превосходно, постоянно получал похвалы, а он выговоры и даже наказания, конечно, не телесные. Если я не остался у маршалковой, то единственно потому, что во всем превосходил ее сына, кроме французского языка, которому меня не учили, за то я отлично читал польски, понемецки и плохо полатыни. Порусски меня не учили, но я прежде читал отлично; в арифметике я далеко обогнал моего товарища.

Сперва мои успехи как будто радовали маршалкову, но после ревность взяла верх, и я был отвезен к пану С., потом к другому, и т. д. Странствовал я до тех пор, пока не последовала правительственная резолюция о дальнейшей моей

судьбе, состоявшаяся в 1833-м году, весной. Если бы меня спросили каково мне жилось эти три года, то, мне кажется, самый подходящий ответ будет: «так себе». В некоторых домах мне было лучше, в других хуже, но хорошо нигде. В каждом доме мне твердили, что я скоро поступлю в кадетский корпус, но, чтобы я там не набирался поганого русского духу. Не знаю почему кадетский корпус не только не пугал меня, а, напротив, поступления туда я ожидал с большим нетерпением.

II

Распоряжение правительства об отдаче меня в Екатеринославское сиротское отделение военных кантонистов.- Отправление меня к месту назначения по-этапу.- Неожиданный благотворитель.- Поход до Киева.- Жизнь в этом городе .- Первое знакомство с кантонистами.- Кража у меня кошелька с деньгами.- Затруднительное положение.- Выгодный промысел. - Выступление из Киева. - Путевые приключения.

В одно прекрасное утро, к пану, у которого я проживал уже несколько недель, приехал ассесор и увез меня в уездный город Дубно, объявив при этом, что я назначен в Екатеринославское сиротское отделение военных кантонистов. Вот тебе и кадетский корпус! подумал я и еще больше возненавидел отчима, а с ним и всех панов, потому что слово «кантонист» в то время равно было ругательному слову. На другой день ассесор доставил меня в земский суд, а последний препроводил меня к этапному начальнику со всеми моими вещами.

Этапный начальник распорядился отправить меня в казарму и велел караулить, чтобы я не бежал. В казарме я пробыл целую неделю. Солдаты обращались со мной очень хорошо: я имел несколько золотых, и они мне покупали съестное, не забывая, конечно, и себя; впрочем, я охотно всем делился с ними...

Наконец, наступил день отправки. На дворе явилось много арестантов и арестанток, закованных в одиночку и группами на железных прутьях. Была произведена переключка отправляющемуся этапу, в том числе окликнули и меня, не в числе арестантов, а в другом списке, озаглавленном «не в роде арестантов», но для сокращения нас всегда и везде называли просто «не в роде». Я говорю нас, потому что не я один принадлежал к этой категории, а еще несколько солдат, бывших в лазарете и пересылаемых к полкам. Этапный офицер вручил каждому «не в роде» суточные деньги, по расчету до Киева, полагая на каждые сутки по 16 коп. ассигнациями, что на серебро составляет по 4 коп. в день. Затем, было скомандовано: «этап, направо, скорым шагом марш»!

Я стоял тоже во фронте, на левом фланге «не в роде» и это меня занимало. Наши и арестантские вещи были положены на подводы, на которых сидели арестантки с грудными и не грудными детьми. Помню, как теперь, что по слову «марш» я горько заплакал, но скоро успокоился, боясь, чтобы меня кто-нибудь не узнал из знакомых; мне очень было стыдно идти с арестантами. Выйдя из города на большую дорогу, «не в роде» пошли бульваром, обсаженным деревьями; день был отличный, майский, и я повеселел, тем более, что владел капиталом, как мне тогда казалось, огромным, по крайней мере, я такого не имел еще в своей жизни.

Я забыл упомянуть, что накануне дня отправления этапа, ко мне в казарму явился какой-то вовсе мне незнакомый пан и, после нескольких незначительных вопросов, дал мне хороший шелковый кошелек, набитый деньгами, и сказал мне: «тут сорок золотых, береги их и покупай на них себе кушать, а то будешь голоден», что я и делал; большею половиною моего капитала воспользовались солдатики и партионный унтер - офицер, но за то они сажали меня на подводы, и я мог ехать сколько вздумается, хотя мне подводы не полагалось. Расстояние от города Дубно до города Киева 360 верст, и мы шли их довольно долго; в путешествии этом не произошло ничего замечательного; мы шли два дня, а на третий день была дневка.

По приходе на каждый этап, арестантов запирали в этапный острог, а нас, «не в роде», деревенский десятский разводил по квартирам, повторяя при этом каждой хозяйке, что мы идем на кормовых; в переводе это означало, что тот из нас, кто желает ужинать, на другой день позавтракать и на дорогу получить полхлеба, должен заплатить хозяевам 12 коп. ассигнациями, остальные 4 коп., или, по теперешнему счету, одна коп. сер., полагались на приварок к полученному от ночлежного хозяина хлебу на обед; кто же не хотел платить, тот не должен был ничего требовать от хозяина, кроме охапки соломы и рядна для постели.

Быть может, читателю покажется невероятным, чтобы человек мог прокормиться 16 коп. ассигнациями, которые равны четырем теперешним коп. серебром. Во-первых, я говорю правду, а во-вторых, могу даже уверить, что в то время, о котором я пишу, можно было на эти деньги прожить даже без всякой казенной квартиры; в то время 16 коп. ассигнациями гораздо больше значили и на них можно было купить всего больше, нежели теперь на 30 коп. серебром.

Наконец, мы приплелись в Киев. Арестантов, по обыкновению, отвели в острог, а нас, «не в роде», оставили ночевать в казармах, потому что было уже довольно поздно. На другой день мы были размещены по квартирам в части города, называемой «Зверинцем».

При отправке на квартиры, каждому из нас было выдано на несколько дней хлеба, полагая по три фунта и ячных круп по 1/30 гарнца в день; больше ничего не полагалось; вместе с тем строго было приказано ничего не требовать от хозяев, что, впрочем, было совершенно лишнее, так как они и без того не дали бы постояльцу пообедать, если бы он даже умирал с голоду. Жители Киева не отличались добротой и гуманностью. Нам также приказано было являться каждое утро в казармы на перекличку.

Кроме выданного мне на руки громадного хлеба и горсти крупы, у меня было порядочное количество собственных вещей, заключавшихся в платье, белье и учебных книгах, а потому нужно было нанять подводу, на что мне очень жаль было тратить деньги, которых оставалось очень мало; в то время я начинал уже рассчитывать. На перекличку надо было ходить не менее пяти верст, но я являлся с удовольствием, потому что встречался там с другими кантонистами. Сперва мы

дичились друг друга; но это продолжалось не долго: оказалось, что несколько человек жило возле моей квартиры. Они начали часто меня посещать; я их угощал булками, но вскоре они украли у меня кошелек и все деньги, которых было еще десять злотых. Долго я их оплакивал, но не жаловался никому, не смотря на советы хозяйки.

Кража эта поставила меня в большое затруднение, и я не знал, чем мне пропитываться, потому что получаемый на неделю хлеб мы тут же продавали торговкам, так как донести его на квартиру было тяжело не только мне, но и старшим. К одной беде присоединилась другая: последняя пара сапог требовала ремонта; из казны нам никакой одежды еще не полагалось. Пришлось продать часть своего гардероба, за который торговцы дали мне, разумеется, что хотели.

Не знаю, чтобы я делал дальше, если б случайно не встретил знакомого уже мне кантониста, несшаго несколько разнокалиберных удочек и направлявшагося к Днепру, на мост, удить рыбу. Я попросил его взять меня с собою, на что он охотно согласился; дорогою я приобрел у него одну удочку. Ловля была превосходная, и мы продали рыбу тут же, возле моста, где было выстроено несколько балаганов с продажей всевозможных съестных припасов, начиная от борща, хлеба, сельдей и кончая лакомыми пирожками с печенкой, ворохами булок и бубликов, яблок и груш, так что мы не только в волю наелись и полакомились на деньги вырученныя за проданную рыбу, но еще у нас осталось по несколько копеек.

Товарищ по ловле рыбы познакомил меня с своею матерью, вдовою солдаткой, оказавшейся очень порядочной женщиной; она строго внушила мне, ни с кем не знаться, кроме ея сына, говоря, что все остальные кантонисты воришки и их часто ловят в лавках в воровстве разной мелочи, которую она высчитывала подробно. Действительно, сын ея оказался хорошим, нравственным мальчиком.

Дня через два у меня было уже много удочек, а через неделю я владел ершовкою, вещью не всем мальчикам доступною, по своей дороговизне; но ершовка доставляла большой доход она носила свое название от рыбы ерша, и механизм ея очень простой: несколько сажень, особенно для того делаемой, тонкой но крепкой шворки, на которой, во всю ея длину, привязываются другия шворки на две четверти длины, к которым привязываются крючки, числом до ста, к последним накладывается приманка, а на самом конце шворки привязан свинец, фунта в два весу; шворка опускается в воду, пока грузило не достигнет дна; другой конец ея привязывается к мосту и выжидается часа два, в течение которых удится другая рыба на удилица разнаго сорта.

Когда шворка вытаскивается из воды, то часто ерши попадают почти на каждый крючок.

Мы ожидали кормовых денег месяца три, и все это время я постоянно удил рыбу, от промысла которой не только был сыт и ел, что мне хотелось, но еще скопил несколько злотых на дорогу, и прятал их в купленный сафьянный черес, который носил на теле.

Из Киева мы выступили тем же порядком, как из Дубно; разница состояла лишь в том, что арестантов, кантонистов и конвойных было гораздо больше. Кормовые деньги нам выдали на руки, с прибавкой до 17 1/2 коп. ассигнациями.

Этап наш вел уже не унтер - офицер, а офицер, а потому было гораздо строже; подвод было недостаточно и ехать мне не приходилось; но я уже привык ходить, тем более что переходы были небольшие, с дневками на третий день. Во время этого перехода не случилось ничего особенного, кроме только того, что с первой же дневки бежало три кантониста, за что партионный офицер хотел было и нас запереть с арестантами, но к счастью нашему не было помещения, и офицер, выругав нас изрядно, отпустил по квартирам. Больше беглых кантонистов не было.

В Кременчуге мы только передневали и тем же порядком, опять с арестантами, но уже в гораздо меньшем количестве, отправились далее к цели нашего путешествия. Вел наш этап опять унтер-офицер и было свободнее. Хозяева и хозяйки были гораздо добрее, чем в первом переходе, кормили лучше, на дорогу давали паляницы, сало и арбузы. и не только за все это не требовали денег но даже обижались, если я давал настойчиво. - «Заховай, хлопчику, вони тобі пригодяться».- Спасибо вам, добрые люди! Сбережения эти, действительно, мне очень пригодились.

III

Прибытие в Екатеринослав.- Военно-сиротское отделение.- Первое представление баталионному командиру.- Отправление в лагерь.- Баталионный фельдфебель.- Помещение кантонистов.- Дядька.- Кантонистские порядки.- Продажа вещей.- Фронтное и классное обучение.- Выпуск кантонистов.- Перевод меня в третью роту.- Жестокость начальников.- Наряд на собиране розог.- Кантонистския песни.- Кантонистския розги.

Наконец, в октябре месяце, прибыли мы в Екатеринослав, в котором находилось Сиротское отдвление военных кантонистов, куда я был определен. По сдаче арестантов, этапный унтер - офицер привел нас прямо во двор Сиротскаго отделения, находившагося на самом конце города. Здание это было довольно большое, трехэтажное, деревянное;на обширном дворе красовалось безчисленное множество теплых и холодных построек; все они были выкрашены одним серым цветом с темно-красными крышами и в общем производили самый сумрачный вид. Наш унтер-офицер, с своей кожанной сумкой, где у него хранились бумаги, отправился в канцелярию, откуда вышел нескоро. Писарь, сделав нам перекличку, вызвал меня, велел выйти из фронта и поставил впереди, затем вызвал еще троих и поставил рядом со мною на некотором разстоянии, а сам ушел. Мы простояли в таком порядке довольно долго, и я удивлялся, зачем это поставили нас впереди других; но скоро дело объяснилось; вышел баталионный командир в сопровождении того же самого писаря, у котораго в руках было много каких-то бумаг. Наружность баталионнаго обещала мало хорошаго: он был уже не молод, но и не старик, средняго роста; все лицо его, не исключая носа, было красно-

синее, походка такая, которую называют «ходить фертиком». Прежде всего он подошел к нам; писарь начал ему пояснять, указывая на меня и касаясь рукою:

- Это столбовой дворянин, а это обер - офицерский сын, а это два брата из разночинцев.

Я невольно взглянул на своего соседа, но он ни одеждой и ничем другим не отличался от прочих кантонистов. Баталионный командир взглянул на нас и велел идти на свои места, т. е. к прочим кантонистам, которые были выстроены в две шеренги и, дав нам стать на свои места, крикнул «здорово ребята!» на что ему ответили, и то некоторые, в полголоса: «здравия желаем вашему благородию». Я один громко ответил пискливым голосом: «здравия желаю вашему высокоблагородию».

Неумение ответить, а еще больше понижение ранга подполковника, очень его взбесило, и он с азартом крикнул:

- Кто сказал ваше высокоблагородие, выйди вперед! Но я не выходил, потому что крепко струсил. Этапный унтер-офицер, стоявший около, вывел меня. Тогда баталионный командир, поворотив меня лицом к фронту, сказал:

- Вот видите, дураки, самый меньший и умнее всех вас; помните, ослы, я уже давно не благородие, а ваше высокоблагородие, при том отвечайте громко.

Затем он послал меня на свое место и отойдя от нас на несколько шагов, опять стал подходить, как бы в первый раз увидев нас и опять крикнул: «здорово, ребята!» но опять вышла чепуха. Он опять выбранил всех и опять отходил и подходил вновь, здороваясь, что повторялось раз десять, угрожал даже пересечь нас розгами, наконец, остался доволен и тогда спросив не имеем ли мы какой-нибудь претензии к этапному унтер-офицеру, распределил нас, смотря по росту, в роты. Все вещи наши были сложены в цейхауз; я был назначен в четвертую роту, в разряд маленьких, куда нас и повел баталионный унтер-офицер. Хотя уже было довольно холодно, но кантонисты были еще в лагере, в бараках, устроенных из досок на расстоянии около версты от корпуса и города. Ротный фельдфебель, усач, но гораздо благовиднее баталионного командира и, как после я узнал, очень добрый человек, узнав, что я дворянин, дал мне наставления, заключавшиеся в трех пунктах: быть послушным не красть и не бродяжничать, в противном случае будет мне плохо. После этого, вызвав старого кантониста, он сказал мне: «вот тебе дядька, слушай его»!

Дядька мой был старше меня на один только год, но находился в этой роте три года и был ефрейтором. Для каждой роты был отдельный барак или, лучше сказать, сарай, потому что окон и потолка не было дверей тоже, а существовали лишь несколько ворот, отпиравшихся на две половины. Во всю длину сараев были устроены нары таким порядком: по середине широкия на них ложились в два ряда, голова к голове, которые отделяли две доски, у обеих же стен сараев лежали головами к стенкам.. На каждого человека полагались тюфяк и подушка

набитые соломой и суконное одеяло; простыни давались только при смотрах; в одном конце сарая была перегороджена комната для фельдфебеля, тут же висела икона; возле каждого ворот был ушат с водой и кружками; для ночного освещения в разных местах висели большие фонари; в противоположном от иконы углу возвышалась целая груда отличных розог; больше этого ничего не было. Дядька мой положил меня рядом с собою, для чего перевел своего соседа на свободный тюфяк. Начались расспросы кто я, откуда и есть ли у меня отец, мать и т.д. Выслушав меня с большим вниманием, дядька начал в свою очередь рассказывать о себе. Оказалось, что у него тоже не было отца и матери; в заключение он сказал, что если я стану его слушать то меня не будут пороть, а то будет беда; потом спросил много ли у меня вещей, есть ли деньги и сколько, - на последнее я отвечал уклончиво; действительно, я не знал сколько их было, потому что на золотые счету уже не было, а считалось на рубли асигнациями дядька без себя не велел продавать вещей, иначе надуют, держать же собственных вещей, каких бы то ни было, строго воспрещалось; ужинать в столовую мы не ходили, что охотно дозволялось, а купили ужин у торговки на мои деньги. В девять часов пробили зорю, после чего всей ротой была пропета молитва к отходу ко сну, а затем все легли спать, не ложились только дежурный унтер-офицер и дежурные кантонисты, которые по наряду ночью чередовались. Спать мне было холодно под одним одеялом. Узнав об этом, мой дядька, как заботливая мать, прикрыл меня своею шинелью. На рассвете снова пробили зорю, но никто не проснулся, кроме меня, а все спали самым сладким сном. Не более как чрез полчаса, последовала лаконическая команда: «вставай», но и на эту команду мало обратили внимания, продолжая спать. Тогда дежурные начали срывать с спящих одеяла, давая при этом по несколько розог - живо надев сапоги и шинели в накидку, все бежали к ушатам умываться. Торопливость эта происходила для того, чтобы захватить сухое полотенце, которое последним уже не доставалось. Затем происходил более сложный туалет: чистка сапог и надевание курток. Причесываться не было надобности, потому что все были острижены низко до невозможности. Далее следовала команда к молитве; все поворачивались лицом к иконе и пели утреннюю молитву, затем следовала команда «выходи, стройся». Оставались только одни дневальные и капральные ефрейторы для выравнивания по шнуру тюфяков и освидетельствования сухости их оказавшийся мокрым, выбрасывался в сторону. Выстроенной роте фельдфебель делал перекличку и посчитав ряды, командовал: «задняя две шеренги отступи». В это время служители, из старых солдат, являлись с огромными корзинами, наполненными порциями хлеба, каждая весом в 1/4 фунта, так называемых снеданками; где же вес был не полон там была приколка с кусочком хлеба, но приколки редко достигали цели, - ими обыкновенно пользовались те же служители и продавали несколько кусочков за копейку ассиг. Завтракая снеданки, рота стояла всегда вольно и потому происходила большая беготня по фронту, - нуждающийся в чем-нибудь клал полученный снеданок себе на ладонь, чтобы каждый мог видеть его достоинство и выкрикивал: «кто иголку, целый снеданок», другой, кто грифель, дальше кто целое перо, кусочек карандаша, кто копейку и т. д. Взятый снеданок, свято выполнял договор.

После завтрака командовалось: «смирно, задняя две шеренги приступи». Затем, вызывались вперед те кантонисты, у которых оказались мокрые тюфяки и начиналась порка, которую производил фельдфебель; виновные были еще дети, не больше девяти, десяти лет, и получали только по 25 розог, но это потому, что наш фельдфебель был добрее всех. По окончании порки, если ротный командир не приходил, то рота отправлялась в классы.

На этот раз ротный командир не пришел и в 8 часов рота двинулась в классы, а я с дядькой в цейхауз для пригонки казенной одежды и получения своих вещей. Мне пригнали сперва новую пару, и написали на подкладке куртки мою фамилию, а затем, эта пара была сдана обратно; другая пара, совсем старая, рубашка, фуражка, новые сапоги и шинель остались на мне. Когда я надевал казенную рубашку, дядька, увидев на мне черес и, узнав, что там деньги, сказал: «давай сюда, у тебя его отнимут», что я и исполнил.

Получив свои вещи, мы сейчас же приступили к их продаже. Покупщики таких вещей знали в какие дни приходить в этап, и являлись в таком количестве, что их было больше, чем вещей всей нашей партии. Дядька мой так дельно торговался, что я не мог понять, где это он выучился такому искусству. По продаже всех вещей и чемодана, мы пошли в укромное место, и он принялся считать деньги, которых оказалось, сбереженных кормовых, от промысла рыбы и вырученных за вещи, 58 рублей ассигнациями. Дядька мой сказал, что я богач и что в целом отделении ни у кого нет таких больших денег; и он говорил совершенную правду; при этом приказал мне, чтобы я никому не признавался в том, что у меня есть деньги.

Дядька подвязал себе мой черес под рубашку, и мы отправились обратно в лагерь. При передаче мною ему черес с деньгами, не было ни одного свидетеля, и он мог бы все употребить в свою пользу, но он без моего согласия не воспользовался ни одной копейкой. В наше время, полагаю, он поступил бы иначе. По возвращении в лагерь, стрижельщик не остриг, а положительно оболванил меня, и мой дядька немедленно начал учить меня стойке и поворотам. В тот же день я был смерян и записан в списке под ранжир (подходящий рост).

Фронтное учение меня несколько не пугало, я довольно насмотрелся на него и даже был в лагерях с отчимом, а потому оказал большие успехи; недели через две я был уже во фронте, как старый кантонист, что другие достигали через полгода. Классы разделялись на низший, средний и верхний, и в каждом из них три разряда: первый, второй и третий. Классы были общие, т. е. не для каждой роты отдельные, а сортировались ученики по их знанию, так что ученик первой роты громадного роста нередко был низшаго класса, а маленькие, четвертой и третьей рот, в среднем и даже в верхнем классах. Учителя были из тех же самых кантонистов и преподаваемые предметы знали хорошо, пользовались хорошей репутацией и, по закону, были избавлены от телесного наказания, сами же нас пороли сколько душе было угодно.

Меня привели в низший класс для испытания. Узнав мои знания, хотели зачислить меня прямо в средний класс, но я не учил и не знал Закона Божия и священной истории, и потому был оставлен в низшем классе, но в первом отделении. Дней чрез десять лагерь был кончен; первые три роты пошли на зимние квартиры в деревни, лежащая близ города, а наша четвертая рота вся поместилась в отделении, - так называлось главное здание корпуса. Нас разместили по 60 человек в каждую комнату и каждому была дана кровать с той же постелью, которая была в лагерях, с прибавкою простыни.

Ротный наш командир был человек больной, но добрый, наказывал нас редко и не жестоко; целую зиму мы ходили в классы, но мне нечего было там учить, кроме Закона Божия, священной истории и чистописания, а потому меня заставляли учить других; вообще, с нами обращались лучше, чем в других ротах; правда, у нас не было тех проказ, какие делали высшая рота, но там и наказывали не по-человечески. Намереваясь описывать все подробности, я несколько не увлекаюсь, тем более что воспоминания эти далеко не лестны для меня, а делаю это для того, что я нигде не встречал описания быта кантонистов того времени, как будто бы они были не люди, тогда как об арестантах пишут довольно много. Между тем, быт кантониста, если был не хуже, то ни в каком случае не лучше арестанта, и если бы мне, за какую-нибудь провинность, дали на выбор или идти в каторжную работу, или поступить кантонистом при тех самых условиях, какие существовали в то время, о котором я пишу, то я предпочел бы первое.

На следующий год моего поступления, в мае месяце, весь батальон был снова собран в лагерь, т. е. размещен в тех же сараях, о которых упомянуто раньше. В том же мае происходил ежегодный выпуск кантонистов, достигнувших совершеннолетия, на действительную службу. Вследствие этого, произошло большое передвижение из роты в роты и я с моим дядькой, в числе прочих, был переведен в третью роту. Выпускные поступали на действительную службу, большею частью, в писаря в департаменты и министерства в Петербург, и это были писаря в полном смысле этого слова; все они были доведены почти до совершенства в каллиграфическом искусстве; в настоящее время подобных писарей нигде нет. Затем, красавцы назначались в первый карабинерный полк; прилагательное «красавцы» давалось им не даром, потому что все они вместе, и каждый порознь, годились бы для модели художнику. Остальные, так называемая «дрянь», поступали куда попало.

В третьей роте мне, да и всем другим переведенным, было гораздо хуже, нежели в четвертой, потому что, начиная от капральных, ефрейторов и до ротного командира, все были живодеры; каждый из них находил величайшим для себя удовольствием наказывать, с равной жестокостью, как виноватых, так и не виноватых. В настоящее время трудно поверить, чтобы можно было находить удовольствие в сечении. Однако, это было так и даже не считалось предосудительным, потому что вполне соответствовало нравам и понятиям той эпохи.

В третьей роте уже делались наряды на разные работы, как-то: дергать мочалу для подушек в больницу, ходить за розгами и на вести к ротному и другим офицерам; было много и других работ, но самым любимым нарядом было - ходить за розгами, потому что здесь каждый чувствовал себя на свободе, а так как и из других рот тоже назначались кантонисты для собирания экзекуционного материала, то нас собиралось всегда до пятидесяти человек и составлялись хоры песельников. Песни пелись при резании розог самая заунывная, например: «Калина с матушкой, что не рано зацвела, не в ту пору времячко матери сына родила и, не собравшись с разумом, в солдаты отдала». При вязании розог в пучки, пелись песни собственного сочинения кантонистов, неудобные в печати: сперва доставалось командирам, а после говорилось, как наказанный, умирая от розог, прощается и прощает своей матери и всем своим товарищам, которые его обижали; при этих словах напев до того заунывный, что слабонервные плакали. Когда случалось петь эту песню в присутствии хохлушек, то все они, хотя бы с самыми крепкими нервами, навзрыд рыдали; но эта песня была запрещена и нарушавшие запрет жестоко наказывались.

Я убежден, что если бы в настоящее время с такою беспощадностью наказывали бы розгами нынешних солдатских детей, то их всех засекали бы на смерть; но то было другое время и другая натура, отличавшаяся необычайной выносливостью, хотя и тогда от розог каждый год, смело можно сказать, одна треть батальона отправлялась в Елисейския поля, но комплект был всегда полный, потому что прибывали новые партии кантонистов, по требованию батальонного командира. Куда исчезали и в таком количестве дети, никому никакого дела не было, да едва ли в то время и нужно было кому-нибудь это знать. Возвращаюсь опять к розгам. Читатель подумает, да что же тут распространяться о розгах? в описываемое мною время, ведь секли во всех учебных заведениях, и многия лица, испытавшие на себе это наказание, еще живы; но в том-то и дело, что всегда и везде розги употреблялись березовые, отчего и носили название «березовая каша», но наши розги были далеко не те: в той местности, о которой я говорю, в окружности ста и больше верст, никаких лесов не было и в настоящее время нет, а тем более березы, но за то было много красной, бакановаго цвета, лозы, которая растет на песках; веток у ней нет, одни стволы, так хорошо гнущиеся, что из каждого прута можно свернуть кольцо, не поломав лозы; длина розги полагалась 1 1/3 аршина, и вот этими-то розгами наказывали исключительно барабанщики, о которых скажу в свое время. От каждого удара не только отсекалась у жертвы кожа, но даже прутья грузили в тело. Не знаю, справедливо ли, но говорили, что эти розги были хуже плети палача.

IV

Несчастливая участь моего дядьки. - Мое последнее свидание с ним. - Бани.- Осмотр белья. - Особенная страсть каптенармуса к крови. - Корпорация барабанщиков.- Размещение кантонистов на зимняя квартиры.-

Квартирные хозяева.- Отношения их к кантонистам.- Мытье панталон.- Казенная пища кантонистов.- Кража хлеба.- Чесотка и ее лечение.- Бегства кантонистов.- Наказание беглецов.

Дядька мой, по переходе в третью роту, перестал быть ефрейтором, так как там были свои, и ему спороли желтую тесьму с эполет, означавшую его ранг, и он уже не только перестал быть моим дядькой, а скорее я сделался его ментором. Каким образом я подчинил его себе - не знаю, потому что ни усилий, ни стараний на то с моей стороны не было; теперь, перестав быть ефрейтором, он назначался на все работы и, между прочим, ходил на вести к ротному командиру.

Обязанность вестового заключалась в том, чтобы находиться в полном повиновении деньщика ротного командира и кухарок его. Как-то, несчастный, бывший мой дядька, состоя на вестях, чистил кастрюлю и неосторожно толкнул вблизи стоявший кувшин с молоком; хотя кувшин уцелел, но содержимое в нем пропало, за что виновному дали 50 розог; но высек его не ротный командир, которого в то время не было, а ротная командирша; неудовольствовавшись этим, она прогнала его вон и велела сказать фельдфебелю, чтобы прислал другого.

Фельдфебель, узнав в чем дело, дал ему еще и от себя 50 розог. Напрасно бедняга доказывал фактически, что он уже высечен командиршей роты - все было напрасно. Вскоре над ним стряслась новая беда, имевшая роковые последствия. Курение табаку считалось проступком уголовным, за который мог наказывать не фельдфебель, а только ротный и баталионный командиры, что в переводе означало: 500 и больше розог. Несчастный Коля, так звали моего бывшего дядьку, попался с сигарой в руках, за что и был наказан 500 ударами.

Страдалец сперва кричал, а потом стонал, к концу же сечения совсем умолк. Я горько плакал не только во время его мук, но плакал и на другой день. Полуживого отнесли его в лазарет; в свободное время я просиживал около него по несколько часов и, смотря на его раны, каждый раз плакал и упрекал его, зачем он не послушал меня и не бросил курения. Деньги мои все еще хранились у него и их оставалось довольно, потому что он был расчетлив.

Сначала он как будто начал поправляться; я просил его не жалость денег, покупать съестное, что ему угодно, но это не помогло: он стал жаловаться на сильную боль сердца, а месяца через два объявил мне, что он уже не жилец на этом свете и при этом благодарил меня за все, твердил о своей привязанности ко мне, взял с меня обещание, чтобы я берег себя от наказаний, «иначе,- прибавлял он, - не перенесешь и тебя убьют, как меня убили». Странно, что он не только не бранил своих убийц, но даже не упоминал о них, как будто им так и следовало его убить; он отдавал мне мои деньги, но я их не взял, не ожидая, что он скоро умрет. Прощаясь с ним, я не думал, что не дальше. как через год и меня постигнет такая же катастрофа, и если я останусь жив, то лишь благодаря своей немецкой фамилии и уменью, хотя плохо, говорить понемецки; но об этом речь впереди.

Через несколько дней я опять выпросился навестить моего друга Колю но, увы! он уже три дня как был похоронен. Мир праху твоему, мой милый, мой

дорогой Коля! ты умер, как умирали мученики, прощая своих убийц. Странное чувство овладело мной, когда я вернулся в лагерь; мне казалось, что я осиротел, когда не стало моего доброго Коли, а при его жизни я не чувствовал себя ни сиротой, ни одиноким, так была сильна моя привязанность к нему; он мне заменял все и всех. После его смерти, многие навязывались ко мне с своей дружбой, и хотя я их не отталкивал, но они сами устранились, в особенности, когда узнали, что я лишился своего кошелька с деньгами, которого я даже и не спросил у лазаретных служителей, зная, что это напрасный труд.

До настоящего времени я не был еще ни одного разу высечен формально и по всем правилам, то есть в растяжку на земле, скамье или на воздух, за что обязан был моему дядьке и необыкновенной моей памяти: заданные уроки я никогда не долбил как все это делали; для меня достаточно было прочесть заданный урок три раза, ложась спать, а на другой день я не только твердо знал его, но даже помнил все запятыя и точки, да и во всех предметах я шел из числа первых, а потому и был избавлен от назначения на работы. Все, так называемые прилежные, обязаны были постоянно ходить в классы, за исключением каникулярного времени.

Я упомянул, что еще не был ни одного раза формально высечен, тем не менее, по поступлении в третью роту, я каждую субботу испытывал на себе все прелести лозы. Каждую субботу нас водили в баню и каждый из нас после мытья обязан был явиться в костюме праотца Адама каптенармусу, сдать грязную рубашку и получить от него чистую; сдаваемая грязная рубашка тщательно рассматривалась каптенармусом. По положению, на ней не должно было быть ни одной распорки, две тесьмы у ворота должны были быть в целости; кроме того, не полагалось еще кой-чего, хотя бы носивший рубашку и страдал разстройством желудка, что со многими случалось очень часто.

Если при осмотре оказывалось что-либо подозрительное, то виновного тут же секли в растяжку, на воздухе; особенно доставалось тем, у которых тело было нежное и белое. У проклятого каптенармуса была какая то страсть видеть на нежном теле рубцы и кровь, и вот благодаря этой-то проклятой страсти, я каждую субботу получал по несколько розог, единственно за то, что имел белое тело, но я все-таки получал розги не в растяжку, потому что сдаваемые мною рубашки были всегда в исправности; обыкновенно, каптенармус хватал меня за руку и гонял, как на корде, я делал всевозможная антраша, чтобы ему трудно было нанести такой удар, какой хотелось, то есть, чтобы брызнула кровь, ибо одни рубцы его не удовлетворяли. Бывало, когда он добьется-таки своего, то долго не дает чистой рубашки, а любит и смакует, говоря: «ишь, как славно! будь ты проклят!» Прошло уже более полвека после всего этого, а я и до настоящего времени не могу без отвращения вспомнить рожи каптенармуса.

Теперь скажу о корпорации барабанщиков. В них поступали такие кантонисты, которых драли, драли, но, наконец, перестали, потому что они оказывались неспособными от природы ни к какой науке; но находились и добровольцы, так как быть барабанщиком было выгодно. Одним из существенных условий для

барабанщика должно было быть крепкое телосложение; должность их была самая легкая: бить в барабаны утреннюю и вечернюю зорю и при баталионных учениях, дежурить в столовой и всюду где находились кантонисты на работе, но главная их обязанность состояла в том, чтобы крепко сечь, смотреть за розгами, докладывать о их убыли и требовать пополнения.

Свободные от дежурства барабанщики по целым дням упражнялись в барабаны, а некоторое время посвящали и упражнению в примерном сечении, ибо это было в своем роде искусство, в коем иные положительно достигали совершенства. Нужно было видеть этих выроdkов рода человеческого, когда они секли и распоряжались теми, кто держал растянутую жертву на скамье, или на воздухе. После 50 ударов, пот лился с них градом, а рожи делались красными; тогда их сменяли другие барабанщики, ожидавшие с нетерпением своей очереди насладиться; они во время сечения приходили в какой-то звериный экстаз. Нередко случалось, что экзекутор, превратив свою жертву в бифштекс, говорит: - «Довольно!» А барабанщики, опьяненные кровью, не могут остановиться и продолжают сечь; тогда за слушание порят их самих.

В конце сентября, все роты, кроме четвертой, разместились на зиму по деревням. Наша рота квартировала в Каменке и всем нам в отношении пищи было лучше, потому что продовольствовали хозяева, хотя пища и здесь была неказиста, но, по крайней мере, разнообразна; розги же и барабанщики были те же. Для классов и фронтового учения, были отведены самая просторная хаты, какия оказались в деревне. Мы находились в полной зависимости от наших хозяев, которые относительно нас изобрели следующую методу: если кантонист чем-нибудь обидит свою хозяйку, последняя брала, обыкновенно, два десятка яиц, а нередко и курицу, и отправлялась с жалобой на обидчика к ротной командирше; последняя, получив хабару и записав имя обидчика, докладывала своему муженьку, который на следующее же утро, когда рота являлась для переключки, отсчитывал виновному сотню, а часто и больше розог; дать меньше розог ротный командир не мог, так как это не позволял ему его ранг.

По праздникам и воскресным дням, если погода была хорошая, нас водили в церковь, но от розог даже и святые нас не спасали; правда, в церкви нас не секли, а расплата производилась по возвращении домой. Провинности в данном случае были разные: во время службы мы обязательно должны были петь целой ротой «Верую», «Достойно» и «Отче наш», и вот некоторые, от слишком сильного религиозного умиления, задирали такого козла, что ушам делалось больно; иные проказники делали это просто для потехи, надеясь на русское «авось пройдет», но не многим это «авось» удавалось; другие, наскучив долгим стоянием, для развлечения, ловили мух на спинах товарищей и т. п. Летом нас водили каждую неделю к Днепру для мытья холщевых панталон, на что мыла не полагалось, а давалось на капральство кусок белой крейды; в обратный путь от Днепра, мы шли без панталон, а каждый развешивал их для просушки на своей спине; другая же пара панталон, имевшаяся у каждого кантониста, всегда тщательно хранилась в цейхаузе для одних смотров.

Обедать и ужинать мы ходили в столовую по-ротно; рота, войдя в промежуток столов, останавливалась, пела молитву, а затем, по барабанному сигналу, в один темп отодвигались скамьи и по такому же сигналу садились и придвигали скамьи. Тарелки, ложки и чашки были оловянные; в ножах и вилках не было никакой надобности, потому что хлеб подавался ломтями, а обед состоял из борща с салом и ячной каши; на ужин та же каша, только в жидком виде, борща на ужин не полагалось. Эта пища никогда не переменалась, за исключением смотров, тогда в борщ клали мелко крошеную говядину, а каша подавалась гречневая и с маслом. Не помню сколько минут полагалось на обед, но что-то очень мало, почему многие не успевали наесться, но по барабанному бою нужно было в ту же минуту вставать, кто же этого не исполнял, а таких всегда набиралось много, того за такую провинность дежурный офицер беспощадно сек; той же экзекуции подвергались кантонисты, попадавшие в воровстве хлеба; их также было много, чему нельзя удивляться, потому что к подобной краже вынуждал голод; крали обыкновенно корки, во-первых потому, что они сытнее, а во-вторых, их удобнее было прятать; но при выходе из столовой, в дверях, служители обшаривали каждого и попавшиеся получали по сту розог.

Среди кантонистов существовали, конечно, разные болезни, но господствовавшей в батальоне была чесотка или, проще выражаясь, короста, которой ни один вновь прибывший не мог избежать. Лечение ее производилось следующим образом: для чесоточных приготавливалась отдельная баня, натапливаемая очень жарко; в предбаннике стояло в котелке лекарство из следующего материала: куриный помет, синий камень и сера в порошке, размешанные в чистом дегте; этим-то составом чесоточные намазывали один другого. По окончании мазки, всех загоняли в баню на самый высокий полок и поддавали пар в таком количестве, что не только вымазанному этой эссенцией человеку было невозможно выдержать, но даже и не вымазанному.

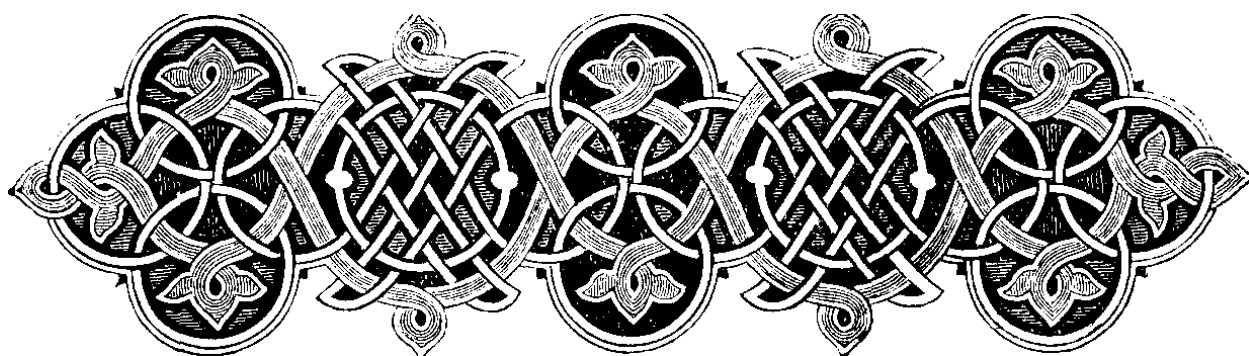
Тут происходили сцены довольно смешные и вместе с тем отвратительные; от жары и мази, разъедающей тело, кантонисты кубарем летели с полков вниз; здесь их поджидали присмотрщики, принимавшиеся сечь несчастных по чем попало; те бросались опять на полок, но, не выдерживая мучения, снова соскакивали вниз и опять начиналась та же история, продолжавшаяся иногда целый час, после чего, наконец, разрешалось обмыться водой. Я много читал о средневековых пытках и мне кажется, что они очень схожи с пытками, которым подвергались наши кантонисты.

Беглецов у нас всегда было много; причин к побегу, конечно, находилось множество, при том же и приманка была соблазнительна: на Днепре почти постоянно стояли целое лето плоты и всевозможные барки, на которые не только принимали беглецов охотно, но и кормили вволю пшенной кашей, с салом, или свежей рыбой; все это делалось не ради какой-нибудь выгоды, а ради Христа. Многие беглецы так и канули, как в воду, но многих приводили с обритыми головами через год, два и даже больше. Наказывал беглецов всегда сам

баталионный командир перед целым баталионом; но описывать процедуру этого наказания я не могу, - потому что прихожу в содрагание от одного воспоминания.

Скажу только, что несчастных раздевали донага, а его высокоблагородию выносили стул, чтобы не утомиться от долгаго стояния. Я забыл сказать, что в тех случаях сечения, когда экзекутор приходил в зверский экстаз, он приказывал барабанщикам «бить корешками»; тогда барабанщики обматывали себе руки тонкими концами розог, а корешками наносили жертве удары; экзекутор же выкрикивал «жги его, каналью»! и, действительно, жгли.

Быть может, читатель скажет: что же это такое все секли и секли, а разве не было высшего начальства? Как не быть, было, да оно же и приказывало сечь, в чем, кажется, и заключалась вся его обязанность



Исторический Вестник», т. XXXII, № 4, стр. 125-141;

V

Назначение меня капральным ефрейтором.- Перевод меня во вторую роту.- Фельдфебель второй роты Иван Антонович Комаров.- Его влияние на меня.- Мое капральство.- Инспекторский смотр.- Ординарцы и вестовые.- Забавный случай. - Добрый инспектор. - Смотр генерала Клейнмихеля. - Его последствия.- Уничтожение кантонистами овражков.- Кантонист Филенко и дрессированный им овражка. - Мое заступничество за Филенку. - Гибельный для меня результат заступничества.- Жестокая расправа надо мной.- Пребывание в больнице.- Штаб-лекарь.- Прощание с Ив. Ант. Комаровым.- Перевод меня в первую роту.

Пропускаю слишком год, в течение которого не произошло ничего особенного, за исключением разве того, что я прямо из «учебных» попал в капральные ефрейторы; «учебными» назывались те, которые учили других, после чего поступали в десяточные ефрейторы, и не ранее как через год производились в капральные; а я сделал шаг не бывалый; причина тому, могу сказать по совести, была та, что я выделялся из среды товарищей во всех отношениях и, сравнительно с другими, был развит не по летам своим.

Теперь продолжаю мой рассказ с того времени, когда я был переведен уже во вторую роту и с меня, в виде исключенная, не только не спорили двух нашивок с

погонов, а, напротив, прибавили еще третью, означавшую, что я числюсь одним из первых и достойнейших; хотя нашивки ни на волос не гарантировали от розог, но все-таки давали большой почет.

В этой роте был фельдфебель, не задолго до моего перевода в нее поступивший из гвардии и шевронист, т. е. отказавшийся от офицерского чина, в замен которого получал две трети прапорщичьяго жалованья, имел на тесаке серебрянный темляк и на левом рукаве серебряную нашивку, что избавляло его от телеснаго наказания. Этот фельдфебель, Иван Антонович Комаров вел себя совершенно не так, как вели себя другие фельдфебели и унтер-офицеры. Он ни с кем не знался, все свободное время посвящал чтению Евангелия и Библии, водки совсем не пил, с кантонистами обращался, как с детьми своими. Меня он полюбил больше всех, начал зазывать к себе в комнату, поил чаем и постоянно кормил чем-нибудь сытным, затем давал мне читать Евангелие и чего я не понимал, то объяснял мне толково.

Я к нему привязался всею моею юношеской душой, и он мне платил тем же. Из привязанности ли ко мне или, быть может, оттого, что ему не с кем было отводить душу, он рассказывал мне такая вещи, под секретом, каких бы мне тогда вовсе не следовало знать; например, он доказывал, что офицеры нашего баталиона, не офицеры, а чорт знает что, набитые дураки и кровопийцы, а есть настоящие офицеры, только в гвардии; все там люди умные, солдат не секут, а, напротив, жалеют и стараются, если можно скрыть их провинности; а наши, что за офицеры? Колбасники проклятые, немчура! И действительно, большая половина наших офицеров были немцы, отличавшиеся жестокостью и тупоумием; остальные офицеры были хотя и православные, но большею частью из фельдфебелей, которые, конечно, мало превосходили немцев, как в нравственном, так и в умственном отношении.

Я и прежде не был високаго мнения об офицерах нашего баталиона, а когда Иван Антонович начал выставлять мне их пороки, о которых я не знал, то подобно ему и я начал презирать их (конечно, в душе). Много добрых советов и наставлений выслушал я от Ивана Антоновича; больше же всего он внушал мне, что когда я буду офицером, то чтобы не сек солдат, при чем приводил слова Спасителя, сказанные им, что должно прощать 777 раз; хвалил меня за то, что я горою стоял всегда за свое капральство и говорил: «Ты думаешь, что я не вижу, что ты всеми правдами и неправдами защищаешь свое капральство, я все вижу и за это то я тебя так сильно полюбил, да и капральство твое всегда в пример ставят». И, действительно, мое капральство было примерное. Любили меня все без исключения, не как начальника, а как друга, и при этом уважали, хотя я этого не требовал.

Следовательно, не только в настоящее время, но и полвека тому назад, легко можно было обходиться без розог, и результаты выходили бы гораздо лучше.

Каждое лето, во время лагерей, бывали у нас инспекторские смотры, но кроме Клейнмихеля, бывшего впоследствии министром путей сообщения, не припомню фамилий других генералов, приезжих для смотра, хотя к каждому из них я постоянно назначался на ординарцы. Если Клейнмихель уцелел в моей памяти, то по особенному случаю, о котором сейчас скажу, но прежде несколько слов об ординарцах и вестовых.

В ординарцы и вестовые от каждой роты выбирались самые расторопные, красивые и стройные кантоницы. За две недели до смотра, нас отделяли от рот под команду особенного офицера, считавшагося докой в шагистике, кормили нас точно на убой, борщ с говядиной и каша гречневая с маслом давались вволю, и при том нас не торопили есть; куртки и панталоны для нас шились из особенного сукна, сапоги выростковые, так что в общем мы представляли красивых молодцев, в особенности после двух недельной кормежки.

В первый раз я являлся на ординарцы, когда еще был в третьей роте. Фамилии генерала не помню, но помню его наружность и то, что он был предобрый человек. Почему-то вышло так, что он ускорил свой проезд к нам на два дня раньше; мы только-что отлично пообедали, как закричали: «ординарцы, живо умываться и одеваться». Когда мы были готовы и осмотрены, нас усадили в два немецких шарабана и почти в карьер помчали к дому губернатора, где остановился приезжий генерал.

Нас ввели в большую комнату, вероятно, зал, где уже находилась вся губернская знать в полной парадной форме. Настала наша очередь представляться. Все шло хорошо; я подошел бойко (хотя в первый раз являлся ординарцем) отрапортовал, получил от генерала «молодец»-гаркнул «рад стараться ваше превосходительство» и отошел в сторону ординарцев, уже являвшихся. В это время начал подходить к моей паре вестовой и, сделав последний шаг левою ногою, а правою пристукнув к ней, внезапно совершил вместе с этим еще один темп, вовсе не полагавшийся по военным артикулам, и при том так громко, что даже эхо раздалось по зале. Он растерялся и не рапортует. Генерал, без сомнения, чтобы его ободрить, сказал: «Ты это, братец, вероятно, от большого усердия?»-«Точно так ваше превосходительство». Занявшись ординарцами, генерал не мог заметить, как сзади его из других комнат вошли несколько дам, с любопытством смотревших на ординарцев первой роты, которые были в полном смысле Красавцы и не моложе 18 лет. Когда Рашков (фамилия вестового) удрал такую штуку, все дамы бросились бежать из залы.

В это время генерал обернулся и, увидав бегущих дам, сконфузился. потому что был далеко не стар; он не стал принимать других ординарцев и всех нас распустил. В обратный путь нас уже не везли, а шли мы пешком вместе с нашими ротными командирами, которые всю дорогу ахали о таком выходящем из ряду вон случай; в особенности горевал наш ротный командир и всю дорогу твердил: «я тебе, Рашков, задам перцу»; но не доходя еще до лагеря, нас нагнал на дрожках адъютант генерала, остановил, дал всем, не исключая и Рашкова, от имени

генерала, по 80 коп. ассиг. и, обратившись к ротным командирам, сказал: «генерал приказал мне передать вам и баталионному командиру, чтобы того кантониста, с которым произошел случай, отнюдь не наказывать, потому что это может случиться с каждым из нас». На другой день генерал смотрел наш баталион, остался очень доволен и до того нас всех хвалил и благодарил, что мы даже удивлялись его доброте, потому что другие генералы при смотрах, хотя и благодарили, но в конце всегда приказывали сечь нас побольше.



Клейнмихель П.А.

Об остальных смотрах я не буду говорить, потому что они ничем не разнились один от другого, а перейду к смотру Клейнмихеля. В 1835 г. получается приказ, что инспекторский смотр будет производить генерал Клейнмихель, который в то время заведывал всеми низшими военными учебными заведениями.

При таком известии, на всех нас, в особенности на наших начальников, напал страх. Хотя никто никогда в глаза не видел Клейнмихеля, но о нем так много ходило рассказов не в его пользу, что каждый, сам не зная чего, трусил. Нас принялись муштровывать с исключительным рвением, отдыха не было и одного часа; муштра кончится, берутся за артикулы, а этих артикулов было чорт знает сколько; при том нужно было знать не только имя, отчество, фамилию, чин, всех командующих войсками, но даже кто из них и какие имел ордена. К чему нам это было знать, про то Аллах ведает, а сколько порки было, если кто ошибался!

Как на зло Клейнмихель долго не ехал. Назначенный срок давно уже прошел, а его все нет. Наконец, в одну прекрасную ночь он приехал; нас, то есть ординарцев, не принял, и на другой же день начал смотр. Против всяких ожиданий, он остался всем доволен. В заключение, как и после каждого смотра, были вызваны вперед мы, то есть дворяне и обер - офицерские дети. Мы полагали, что его превосходительство начнет нас экзаменовывать из военных артикулов, как это делали другие генералы при смотрах; но ошиблись. Клейнмихель не спросил ни одного артикула, а начал спрашивать, кто были наши отцы, какие они имели чины? Спрос этот начался с праваго фланга, с потомственных дворян, и нам, стоявшим по росту к левому флангу, не слышно было о чем шла речь; мы удивлялись, почему там выкрикивают: «рад стараться, ваше превосходительство!» Наконец, Клейнмихель стал приближаться к нам, и мы уже ясно могли слышать:

- Кто твой отец?
- Подполковник азовскаго пехотнаго полка.
- Жив?

- Никак нет, давно умер.
- Хорошо.
- Рад стараться, ваше превосходительство.
- А твой кто был отец?
- Полковник и командир первого батальона великолуцкого пехотного полка.
- Жив?
- Никак нет, ваше превосходительство, давно умер.
- Хорошо.
- Рад стараться, ваше превосходительство.

Неизвестно, к чему относилось «хорошо» его превосходительства, к тому ли, что командир первого батальона великолуцкого пехотного полка давно умер, или к тому, что спрашиваемый отвечал бойко. Повидимому, допрос скоро наскучил генералу, он начал пропускать по несколько человек и, наконец, остановился против меня.

- А твой кто был отец?
- Не могу знать, ваше превосходительство!

Генерал весь побагровел, точно незнанием своего отца я нанес ему личную обиду и крикнул громовым голосом:

- Высечь его, каналью! потомственный дворянин и ефрейтор, а не знает кто был его отец!

Затем он уже никого более ни о чем не спрашивал. Все офицеры батальона, имея во главе батальонного командира, шли гурьбой за генералом, и он, оборачиваясь к ним, повторял еще несколько раз: «секите их всех, канальев, это главное и необходимое», на что офицеры, взяв под козырьки, униженно кланялись, как бы говоря «будьте благонадежны, ваше превосходительство, будем отлично сечь, да мы же больше ничего не делаем». Затем генерал уехал.

Пораженный словами Клейнмихеля, я стоял, как говорится, ни жив, ни мертв, предполагая, что после смотра сейчас же начнется секуция; но ротные командиры, объявив нам двухдневный отдых, разошлись по домам и пять дней никто из них не являлся к нам в лагерь. Говорили, что они, на радостях, в ожидаши наград, кутили. Было радостно и весело целому батальону, мучился и плакал только я один, в ожидании секуции; я потерял даже аппетит и перестал ходить в столовую. Напрасно Иван Антонович утешал меня, говоря, что выпросить мне помилование у ротного командира; я этому не верил, а тут, как на зло, приключилось и другое горе. Иван Антонович начал меня допрашивать:

- Как же это в самом деле, братец, ты не знаешь, кто был твой отец?

- Да почему же мне знать, - отвечал я, - когда никто и никогда не говорил мне, кто был мой отец, после которого я отстался всего одного года от рождения, а вот отчима я помню хорошо.

- Ну, ты бы и валял его и сошло бы отлично, а то не могу знать; однако, я завтра пойду к старшему писарю, я с ним знаком, узнаю, кто был твой отец. Я полагаю, что он был генерал, потому что ты, умница.

Иван Антонович был убежден, что дети полковников и генералов должны быть непременно умны; меня также очень за интересовал вопрос о том, кто был мой отец; я начал мечтать, что, может быть, он был корпусный командир, что, без сомнения детей корпусных командиров сечь нельзя, а потому и меня не высекут. На другой день, я с величайшим нетерпением ожидал, когда Иван Антонович вернется из батальонной канцелярии.

Увидя его, я бросился бегом к нему на встречу, и, не замечая, что он не в духе, спросил: «а что узнали, Иван Антонович, кто был мой отец?»

- «Узнал», - отвечает он лаконически. Я опять спрашиваю. «Кто же?» «Чорт знает кто! Пойдем в мою комнату, там скажу, а то, как услышит школа, то тебе проходу не даст, будет смеяться, потому что и писаря до слез смеялись над чином твоего отца». Услышав такие нерадостные вести, я совсем растерялся и вошел в комнату, как истукан. Иван Антонович вынул из-за обшлага четвертушку бумаги и, подавая ее мне, сказал: - «На, читай!» Я развернул. Там было четко написано: «Кантонист М. А. К. значится из потомственных дворян, отец которого был в Дубенском уездном суде посудком.» Когда я прочел это, то еще больше растерялся от стыда, а Иван Антонович ходить по комнате, и твердить: - «Посудок! посудок! Чтобы тебя чорт взял с твоим дурацким чином!» при этом он даже плюнул несколько раз. Наконец, он подошел ко мне и говорить: «Нет, братец, твой отец должно быть страшная дрянь и дурак - посудок!» и опять плюнул.

Хотя я не питал к покойному отцу ровно никакого чувства, но тут мне почему-то стало его жаль, и я начал его защищать, доказывая, что быть может отец не виноват, что ему дали такой дурацкий чин, при том же отец давно умер; но Иван Антонович не унимался. - «Умер, ну, и чорт с ним, что умер! а все-таки он дурак, что согласился принять такой дурацкий чин, «посудок!» Вошедший дежурный унтер - офицер прекратил наш разговор.

С замиранием сердца я каждый день ожидал появления ротного командира; пять дней неявики его показались мне целым веком; наконец, он явился. Поздоровавшись с нами, он вместо того, чтобы производить учет, начал благодарить всех за смотр, говоря, что мы все были молодцами, за что ротных командиров велено представить к награде; но при этом он не забыл напомнить нам приказание его превосходительства сечь нас побольше.

При последних словах я думал, что он сейчас же вызовет меня вперед и начнет пороть, но, к удивлению моему, да и целого капральства, которое принимало живейшее участие во мне, ничего подобного не случилось; ротный командир распустил роту. Долго я еще сомневался в совершившемся надо мною чуде, сам не зная откуда оно последовало, так как невозможно было допустить и мысли, чтобы ротный командир забыл исполнить приказание его превосходительства. Затем, все пошло своим прежним чередом. Через несколько времени многие офицеры и ротные командиры, действительно, получили награды: одни кресты, другие повышение в чине, и как бы в знак благодарности за такую милость Клейнмихеля начали с особенной энергией приводить в исполнение приказание, отданное им при окончании смотра: сечь нас побольше. И, действительно, нас стали пороть почти вдвое больше, чем пороли до получения наград.

До сентября месяца ничего особенного не случилось; при том же если описывать все мелочи, то, во-первых, можно наскучить, читателю, а во-вторых, многие не поверят моим рассказам, до такой степени они покажутся неправдоподобными в настоящее время. Для примера, приведу один из множества таких неправдоподобных эпизодов.

Недавно, земство одного из уездов, Екатеринославской губернии, земство, кажется, Новомосковское, уплатило, как это значится в отчетах, 26,300 руб. сер. за уничтожение овражков. Наш же батальон получил более 30,000, но не рублей, а розог за то, что ловил и уничтожал овражков. Читатель, может быть, спросить: с какою же целью наше начальство так усердно покровительствовало овражкам, в то время, когда даже не существовало Общества покровительства животным? Ответ на это очень короткий: «для удовольствия сечь, придираясь ко всякому удобному случаю».

Во время квартирования по деревням, в праздничные дни, Кантонисты уходили на охоту за овражками в поле, где были заливы с Днепра. Не имея посуды, кантонисты таскали воду сапогами отчего, конечно, сапоги портились, а потому нам строго было приказано не сметь трогать овражков и не ловить их никакими изобретениями нашими; а изобретений мы ухитрились выдумывать много: ставили петли, делали пружинки из прутьев и т. п., ловили даже на крючки, как рыбу. Некоторых овражков, наиболее умных, по нашему мнению, мы дрессировали. За чтож, казалось бы, сечь, да еще так жестоко, за развлечение чисто детское и при том полезное? Но у нашего начальства на первом плане стояло, - сбережение сапогов и чем усерднее мы ловили овражков, тем усерднее нас пороли.

Теперь приступаю к описанию весьма горестного для меня лично события. Один из лучших кантонистов моего капральства, Филенко, имел под ногами дрессированного овражку, который вырыл себе норку и был на привязи. Овражка этот умел служить на задних лапках, как собачка, и носил поноску. Мы все любили

этого зверька, хотя каждый из нас имел своего и даже нескольких, но наши овражки жили на привязи в поле, где мы их дрессировали и кормили.

В роковой для меня день мы, как всегда, были с семи часов утра на учении; но пошел сильный дождь, и нас распустили. От нечего делать, ротный командир начал осматривать наши постели. Я, как должностное лицо, ходил за ним. Фельдфебель, Иван Антонович, с самого утра был услан в отделение по делам службы. Когда мы подходили к постели Филенки, проклятый овражка стал на задняя лапки и свистнул, чего прежде никогда не делал Ротный командир нагнулся под нары но овражка как нарочно, не только не испугался подобно нам его благородия, а напротив свистнул еще несколько раз, как бы доказывая этим свою самостоятельность. Тогда ротный командир, вытянувшись во весь рост, который и без того был громадный, спросил:

- Чей этот овражка?

Тут уже ни скрывать, ни защищать, не было никакой возможности, и сам Филенко ответил:

- Мой, ваше благородие!

- Как же ты смел, такой - сякой каналья, держать овражку, когда вам строго приказано не ловить их.

- Я, ваше благородие, учу его служить.

- А вот я тебя поучу, как служить! Эй, барабанщики, розог!

Те уже были готовы, зная, что за овражку прощения не будет. Держальщиков явилось много, но все они были из других капральств. Ротный командир крикнул: «На воздух его шельмеца, растяните вот так». Барабанщики в свою очередь кричали: - «подобрать рубашку и панталоны к голенищам», - и по команде «валяй», действительно, стали валять с адским своим усердием. Несчастному Филенке дали 200 розог; вероятно, он получил бы гораздо больше, если бы ротный командир не был потребован по какому-то экстренному делу в первую роту.

Мне чрезвычайно было жаль Филенка и вместе с этим я был крепко зол на ротного за его вопиющую несправедливость. Я излил всю свою жёлчь на тех кантонистов, которые явились из других капральств для того, чтобы растянуть бедного Филенка. Я забыл упомянуть, что всегда презирал охотников держать истязаемую жертву и удивлялся какое они находили в этом удовольствии.

Я успел убедить свое капральство не выскакивать для подобной работы, а идти лишь по приказанию. Когда я начал бранить держальщиков Филенка за их усердие, за них вступились ефрейторы других капральств, которые питали ко мне злобу и зависть за то, что ко мне благоволил фельдфебель, а главное за то что он не давал чаю не только ни одному из них, но даже и унтер - офицерам.

Десяточные ефрейторы моего капральства начали меня защищать. От всего этого произошел большой шум.

Дежурный унтер-офицер крикнул нам: «замолчите, а то я доложу ротному командиру»; но не успел он окончить фразы, как ротный уже предстал пред нами самолично, спрашивая: «что здесь за шум? поди сюда, дежурный! ты о чем хотел мне докладывать?» - «Да вот Кретчмер спорил с другими ефрейторами, что не следует держать, когда секут». - «Как это не держать, не понимаю! поди сюда все ефрейторы, говори, что тут было.» Те сказали что я ругал кантонистов которые держали Филенка, и при этом пояснили, что я запретил своему капральству держать при сечении.

Тогда ротный командир грозно сказал мне: «Как же ты смел, запрещать! что же, мне самому держать, говори!» Я объяснил, что отнюдь не запрещал, когда велят, но чтобы сами не бежали.

- «Ага! так ты вольнодумец!» Хотя я совершенно не понимал, что такое вольнодумец, но инстинктивно угадывал, что это что-то не хорошее, а потому и протестовал.

- «Никак нет, ваше благородие, я не вольнодумец!»

- «Врешь» - и обратившись к унтер-офицеру, спросил, не замечено ли еще чего-нибудь за мною вольнодумного. Тот, подумав, ответил, что я чай пью у фельдфебеля.

- «Так ты и чай пьешь, говори!»

- «Пью, ваше благородие, когда дают»

- Как же это ты так пьешь?

- «В прикуску, ваше благородие!»

- «Да я не о том тебя спрашиваю, мерзавец в прикуску или в накладку ты пьешь, а зачем пьешь ты чай у фельдфебеля? Это все вольнодумство; барабанщики, розог!» Напрасно я клялся что я не вольнодумец и что не буду совсем пить чай все было напрасно растянули меня как лягушку, вызванные ефрейторы, завистники мои, и начали драть.

После нескольких или многих ударов, не помню, я закричал:

Иван Антонович, спасите меня!» Забыв, что его и в лагерях не было, да если бы он и находился здесь, то чем же мог помочь мне. Моим же неуместным воззванием я только больше себя губил, потому что ротный командир от злости превратился в скота и начал кричать: «валяйте его, ракалию, он вольнодумец, у него фельдфебель старше меня, задавай ему жару, задавай!» И, действительно, задавали до тех пор, пока я не перестал дышать.

Мне рассказывали после, что когда держальщики закричали: «умер, ваше благородие», то экзекутор мой струсил, не того, что меня засек (засекал он сотни кантонистов), но полагалось так засекать, чтобы засеченный мог прожить хоть неделю в лазарете; тогда лекаря отмечали несчастного умершим от какой-нибудь болезни, напр. горячки, воспаления и т. п. Эти подробности я узнал от фельдшеров в лазарете, в котором я после инквизиции пролежал около четырех месяцев. Мне говорили, что когда меня на одеяле принесли в лазарет, то я не показывал никаких признаков жизни. Я очнулся лишь тогда, когда мне пустили кровь из обеих рук, после чего я проспал более суток; проснувшись, я не мог пошевелиться, я был как бы закованный в панцырь. Рубашка, присохшая к израненному телу, доставила мне новую пытку: фельдшер, не давая времени намоченной рубашке отстать от ран, отрывал ее с кусками тела. Этот народ привык к подобным операциям, да и некогда было фельдшеру над одной операцией долго возиться, так как подобных операций было много, а фельдшеров недостаточно.

Дня через два обходил палаты больных штаб-лекарь; подойдя к моей кровати, он взглянул на мою дощечку, на которой надпись гласила мое звание, фамилию и название моей болезни «utizis ber suliozum», что означало бугорчатую чахотку. Штаб-лекарь велел повернуть меня на спину, посмотрел и сказал по-немецки своему коллеге ординатору: «ничего, хороша чахотка», затем спросил меня, за что я наказан, откуда и кто были мои родные; все это спрашивал он меня по-немецки, и я, хотя плохо, но все-таки отвечал ему на том же диалекте. Штаб-лекарь; к крайнему изумлению моему, дал мне 50 коп. ассигн. и утешал, что я буду здоров; он велел ординатору прописывать мне самую лучшую порцию, какая только полагалась в лазарете и в тот же день прислал мне тонкую простыню, которую чем-то намазали и заворотили меня, потому что, начиная от шеи и до икр, я весь был иссечен как котлета. Через несколько времени тело мое превратилось в одну сплошную рану; но натура и молодость взяли свое, - я вылечился и только не мог ходить более месяца вследствие того, что свело жилы.

Фельдшера, видя расположение ко мне главного доктора и узнав, что я боюсь возвращаться в свою роту, посоветовали мне, чтобы я попросил его о переводе меня в первую роту, с командиром которой он был очень дружен и состоял в родстве. К переходу в другую роту я имел много причин; фельдфебеля Ивана Антоновича уже не было; он меня посещал в лазарете часто и всегда приносил овощи и лакомства; но это продолжалось не долго; в последний раз он пришел ко мне и дал 2 руб. ас., объявив по секрету, что хотя идет в отпуск на два месяца, но больше в наше отделение не вернется, а выхлопочет себе перевод; если же это ему не удастся, то выйдет в отставку:- «не могу, братец, выносить безбожия», прибавил он.

Я плакал неутешно; прощаясь, Иван Антонович смешал и свою слезу с моими; и это плакал усач, солдат, о доле сироты, делясь с ним своими скудными крохами, не надеясь и не имея в виду никакой благодарности от меня. Мир праху твоему, Иван Антонович, душевную мою благодарность к тебе я унесу и за пределы гроба!

Посещали меня также многие кантонисты; но это продолжалось не долго, потому что в половине октября все выступили из лагеря по деревням. Просьба моя штаб-лекарем была уважена, и я был переведен в первую роту. Выздоровев совершенно перед Рождеством, я явился в означенную роту, в которой, до конца моего пребывания в ней, никто меня пальцем не тронул, благодаря штаб-лекарю.

VI

Вражда кантонистов с фабричными немцами.- Воровство.- Выносливость некоторых кантонистов.- Беглые.- Евреи.- Преподавание.- Состав офицеров.- Немец-офицер с кошачьими инстинктами.- Ветхость лагерных построек.- Эпидимическая болезнь глаз.- Распространение слепоты между кантонистами.- донос.- Приезд из Петербурга генерала.- Осмотр им больных.- Его знергическия распоряжения.- Уничтожение нашего баталиона и перевод нас в Харьковское военное поселение.- Выступление в поход.

Не знаю почему, но все кантонисты терпеть не могли фабричных немцев; вражда эта была сильная, обоюдная и установилась с незапамятных времен. От здания сиротского отделения тянулась к городу улица, по обеим сторонам которой находились исключительно одни двухэтажные, суконная фабрики, принадлежавшая казне и на которых работали исключительно одни немцы выписанные из-за границы еще при Потемкине. Немцы эти несколько не оклиматизировались в России и никто из них, а тем более их жены и дети, не умели и не хотели говорить по-русски. Кантонисты били немцев при каждом удобном и неудобном случае, и немцы платили им тем же, но такая торжества доставались им очень редко и как бы немцы не поколотили кантонистов, но последние никогда не жаловались начальству, считая большим для себя стыдом, что немец поколотил руссаго; немцы же, наоборот, всегда приносили жалобы, и тогда виновных, а часто совершенно безвинных, по ошибочному указанию немцев, пороли без всякой пощады, в особенности, если экзекутор был немец.

Среди кантонистов были и воры, и при том замечательные, особенно отличался один из них, по фамилии Цыбулька. Хотя и говорится, что нет совершенства в мире, но в этом случае Цыбулька был исключение, потому что в искусстве воровать он достиг полного совершенства. Его не мог уберечься ни один лавочник, и он, постоянно воруя, ни одного разу не попался. Были также среди кантонистов натуры баснословной выносливости, оказываемой при сечении: сколько бы экзекутор ни сек, подобный субъект никогда не произносил ни одного слова, не просил о помиловании и не кричал. Экзекутор приходил от этого в ярость и кричал барабанщикам: «повороти корешками, валяй крепче», но ничто не помогало, истязуемый оставался нем и когда экзекуция кончалась, хладнокровно, даже флегматично, одевался и шел, не торопясь, на свое место во фронт, как будто бы с ним ничего особенного не случилось. Быль еще сорт кантонистов, которые при сечении просили помилования, но, не получая его, начинали бранить экзекутора, кто бы он ни был: «жри, подлец, мое мясо, жри!» и вслед затем сыпали бранью вполне солдатскую; после этого они снова принимались просить о помиловании и опять начинали ругаться, так что в

продолжение инквизиции они раз двадцать просили о помиловании и столько же раз ругали экзекутора самыми отборными словами.

Не помнящих в каждой роте было много; почти все они принадлежали к кантонистам других баталионов и, спасаясь от розог, бежали. Пойманные и посаженные в острог, они научались у арестантов сказываться не помнящими родства и не говорить, где жили до поимки. Разумеется, начальство знало, что они беглые кантонисты и так как, большею частью, это были дети 10 или 11 лет, то их препровождали в ближайшее отделение военных кантонистов. По приеме в баталион, этих не помнящих обязательно тотчас же секли, так сказать, на всякий случай; на другой же день, они чистосердечно рассказывали нам, кто они и почему бежали. Из рассказов их оказывалось, что и в других баталионах так же секли, как у нас, но они говорили, что их розги были милосерднее, потому что были березовыя.

Евреев кантонистов также было много, но все они поступали в мастеровые: портные, сапожники, столяры, красильщики. У нас в баталионе все работалось своими мастеровыми. Все евреи принимали христианство, за исключением тех, родители которых жили в том же городе. Меняли религию они с коммерческой целью: в то время каждому крещеному еврею казна выдавала 25 руб. ассиг., а это был капитал, с которым можно было начинать какую-нибудь коммерцию, или ростовщичество.

Науки у нас преподавались довольно удовлетворительно, по крайней мере для кантонистов. Наш последний класс равнялся теперешнему четвертому классу гимназии, кроме языков, которых совсем не преподавали. В то время немногие офицеры в армии знали то, что знал кантонист, окончивший старший класс, и странное дело, ни один из высших наших начальников не только не испытывал нас в знании, но даже никогда не был в классах; их занимала одна лишь муштра; свое же начальство положительно меньше знало, чем многие из нас. Между кантонистами встречались люди с дарованиями и при том не дюжинными; были самоучки, делавшие художественно разные модели из воску, крейды и даже хлеба, без всяких инструментов, одним перочинным ножиком. Были самоучки архитекторы и живописцы, но на них никто из начальства не обращал ни малейшего внимания, хотя не только видели их произведения, но даже заставляли делать что-нибудь для себя.

Состав офицеров, как я уже говорил раньше, отличался своей грубостью, невежеством, жестокостью. Например, был у нас офицер, немец, по своим инстинктам очень походивший на кошку. Известно, что кошка, в особенности если она не голодна, поймав мыш, прежде всего наиграется ею вдоволь, а потом уже съест; таков был и наш немец: попавшуюся в его лапы жертву, сперва непременно томил и глумился над нею.- «Послушай, голубчик!»! - обыкновенно говорил он,- «как ты желаешь, чтобы я тебя высек? Дать ли тебе 150 розог или только 50, с условием чтобы ты сам считал без перерыву, а если перестанешь считать, то счет должен начаться сызнова. Чтож ты молчишь, говори, голубчик, как хочешь?»

- «Да я, ваше благородие, никак не желаю, помилуйте! Клянусь Богом, я не виноват».

- «Ну, уж, братец, этого не говори, а ты лучше подумай, что тебе выгоднее, получить ли 50 со счетом или 150 без твоего счету, я даю тебе время. Видишь, какой я добрый!»! Но несчастная жертва знала по примеру других, что, согласившийся сам считать, не выдерживал и получал, вместо 50 розог, 200 и даже 300, а потому не знала на что решиться; тогда кот-немец начинал уговаривать самым слащавым голосом: - «Соглашайся, голубчик, на 50, попробуй, я тебе по дружбе советую!»! Этот постыдный договор продолжался полчаса не более; наконец, несчастный соглашается на 50 розог и самому считать. Начинается потеха для немца; первые удары жертва считает, но, не досчитав и до десяти, начинает кричать и просить о помиловании; немец хохочет до упаду и заставляет считать съизнова; повторяется то же самое и тот же адский смех немца.

По прибытии моем в первую роту, капральства мне уже не дали, чему я от души был рад; но нашивок с погонов не спорили, а зачислили меня запасным капральным ефрейтором. В последних числах апреля (1836 г.) наш батальон опять был весь в сборе и в тех же лагерях, то есть сараях, которые и прежде были очень плохи, а теперь пришли в совершенную ветхость: крыши сгнили и так как потолков не было, то дождь свободно пробирался на наши нары, где мы спали; стены сараев, частью от гнилости, частью от того, что доски разохлись, просвечивали большими щелями, а весна стояла очень холодная и бурная, спать было очень холодно, сильные ветры не унимались, песок несло в изобилии со всех сторон, и он на четверть засыпал наши постели, попадал в глаза, рот, уши. Не смотря на такую невзгоды, начальство наше ни за что не хотело оставить, даже на время, муштру, а, наоборот, принялось за нее со всем усердием. Стоят бедные кантонисты во фронте, а из глаз у них вода бежит и от песку, и от солнца; скоро очень многие начали болеть глазами; но начальство не обращало на это обстоятельство ни малейшаго внимания, знай себе муштрует и муштрует.

Между тем, больных глазами не куда уже девать, лазареты и где только можно было поместить, все занято, а потому вновь заболевших оставляли в лагерях. Невнимание начальства простиралось до того, что больных не позаботились положить отдельно от здоровых, от чего глазные болезни приняли эпидемический характер. В числе других больных лежал и я с опухшими глазами. лекарей мы не видели, их было недостаточно и для тех, которые лежали в лазаретах. Фельдшера появлялись и то не всякий день; лечение ограничивалось прижиганием ляписом и синим камнем; никаких примочек, или платков для обтирания глаз не было; давалось одно полотенце человек на пятьдесят, которое, конечно, лишь усиливало распространение болезни. Начали появляться на глазах бельмы, а затем кантонисты стали слепнуть. Обедать и ужинать нам носили в лагерь ушатами, от чего пища сделалась еще хуже, но начальство наше и в ус себе не дуло.

Вдруг пронеслась молва, что кто-то сделал донос, но не Клейнмихелю, как главному нашему начальнику, а прямо государю Николаю Павловичу. Одни говорили, что донос сделан был жандармским штаб-офицером, другие утверждали, что вольнопрактикующим доктором, что вернее, не знаю: не прошло недели после появления такого слуха, как нагрянул из Петербурга генерал, фамилии которого не помню, для производства следствия. По приезде, он тот-час осмотрел прежде всего лазареты; что там было говорено, я не слышал, а передавали, что генерал выходил, из себя и бранил наше начальство, как простых солдат, говорил им, что они взялись не за свое дело, что им приличнее было бы делать колбасы, нежели воспитывать детей. После обеда, генерал явился в наш лагерь. Начальство ожидало его и все, не исключая батальонного командира, растерялись. Вместо того, чтобы принять какие-нибудь меры к улучшению нашего положения, они только ходили взад и вперед кучкой и о чем-то спорили. Генерал начал свой осмотр с четвертой роты, то есть с малолеток. Наконец, пришел в нашу роту; мы все стояли каждый около своей постели в старых, оборванных шинелях, понурив головы, и в общем представляли картину крайне жалкую, и не красивую. Генерал с сумрачным видом обходил нас, не здороваясь, не произнося ни одного слова. Наконец, остановился около одного кантониста, у которого было большое нагноение и спросил:

- Почему ты глаза не промоешь?
- Воды нет, ваше превосходительство!
- Вытри платочком.
- Платочка нет, ваше превосходительство!
- Чем тебя лечат?
- Жгут глаза ляписом и синим камнем.

Этот ответ генерал слышал уже в сотый раз, но не сказал больше ни одного слова никому; на дворе он потребовал фельдфебелей и, не дождавсь их, уехал, велел им явиться к себе на квартиру. Вероятно, генерал имел большие полномочия, потому что все делалось как бы по щучьему велению. На другой же день нам розданы были не по одному, а по два платка, хотя не подрубленных; явились городские доктора и фельдшера, компрессы, пиявки и всевозможные примочки и в изобилии; все это точно с неба падало, как дождь. С фабрик прогнали немцев, станки их выбросили на двор, и нас всех перевели туда с нашими постелями; хотя кроватей не было, и мы все лежали на полу, но было просторно, сухо, а главное не было ветру, а с ним и песку засыпавшаго глаза. Пища была отличная: говядина не только на обед, но и на ужин. Дня через три роздали нам зеленые на проволоке зонтики и не только больным, а выдали платочки и зонтики еще не успевшим заразиться. С каждым днем прибывали новые лекаря и фельдшера; откуда их брали и в таком количестве, Бог знает. Все мы ожили; лечение началось правильное и всего было даже в излишестве; не

зараженных услали в ближайшую деревню Одиевку, не разбирая кто какой роты, а всех вместе. Благодаря энергичному образу действий генерала, у многих уцелели глаза, в том числе и у меня; но те кантонисты, которые заболели прежде, тем помочь было невозможно, и все они ослепли, счастливыми считались имевшие лишь бельмы. В сентябре начали формироваться роты по своим деревням; выздоравливавшие отправлялись в свои роты, в числе прочих и я прибыл в свою роту уже совершенно здоровым. Узнаю, что учений никаких нет, в классы не ходят, ротный командир новый и пальцем никого не тронул!

В первых числах октября последовал высочайший указъ об уничтожении нашего батальона, официально называвшагося «Сиротским отделением военных кантонистов», а нас всех (кроме ослепших, которых отправили по всем богодельням) велено перевести в военное поселение, в Харьковскую губернию, в г. Чугуев.

Уничтожить этот ад было необходимо; из того, что я сказал, читатели могут видеть, что это был за вертеп, а, между тем, я не сказал и сотой доли, что здесь творилось; но меня удивляет, для чего все это было сделано с такой поспешностью; нас торопили к выступлению, точно на пожар. Получилось предписание из штаба прислать немедленно из нашей роты одного капральнаго, четырех десяточных ефрейторов и двух барабанщиков; так как я был запасным, то меня и назначили.

В штабе мне вручили список партии, назначенной на завтра к отправке, нужно было разбить партию на десятки. Партионный унтер-офицер был не грамотный, а нужно было принимать на всю партию новыя куртки, рубашки, сапоги, портянки и фуражки. Так как в партии было 250 человек, то приемка продолжалась за полночь, при фонарях; полученные вещи зашивались в тюки и клались на подводы. Все это делалось ночью, и чуть-свет подводы были усла ны вперед.

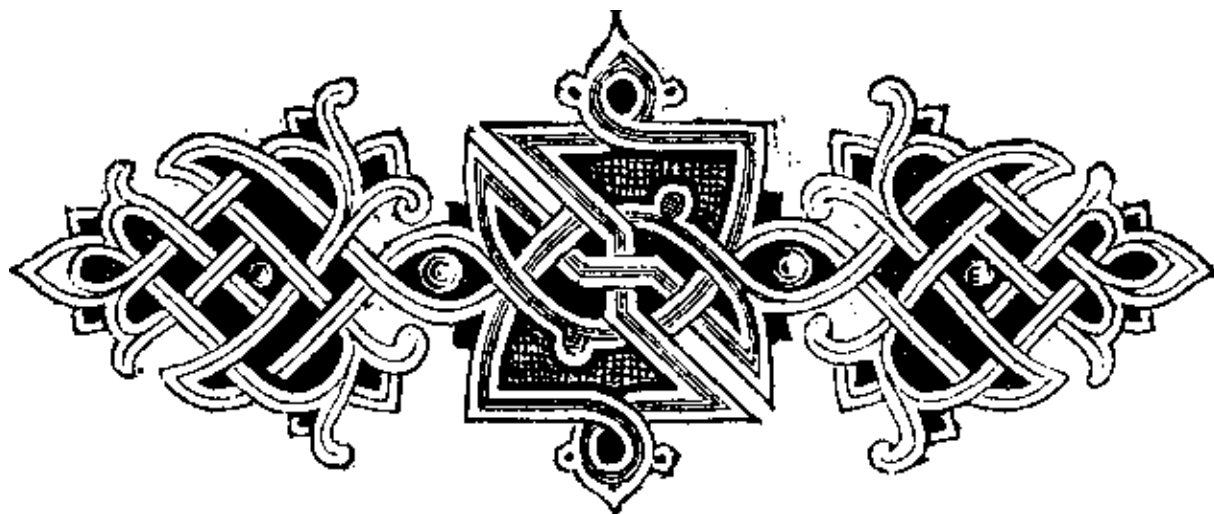
Что случилось с нашими офицерами, я и по настоящее время не знаю; говорили, что многих разжаловали, но насколько это верно, не знаю; пусть лучше скажет об этом архив. Достоверно лишь то, что генерал, устроив нас больных, уехал, а вместо него был прислан следователь, полковник, по фамилии, кажется, Морозов; верно также и то, что перед выступлением последней партии кантонистов, кому-то понадобилось, чтобы батальонная канцелярия сгорела и так умно, что не вытащено ни одного лоскутка бумаги.

Всю ночь перед походом я и подчиненные мне ефрейторы не спали. Еще до света были подняты дети, отправлявшиеся в поход. С восходом солнца дан был завтрак: каша в жидком виде с говядиной, а на дорогу по ломтю хлеба, затем самых маленьких, от восьми и до десяти лет, посадили на обывательская подводы, по шести на каждую.

Как ни рано мы выступили, но смотреть нас, словно какое диво, собралось многое множество народу; одних фабричных немцев и немок было, я думаю,

тысяч до пяти. Физиономии их доказывали, что они в восторге, избавляясь от вековых своих врагов; провожали нас с рыданием и непритворным сожалением одни только солдатики, торговки пирожками и бубликами, которые только и подерживали свое существование от нашего батальона. На прощанье, оне каждого кантониста целовали, крестили и давали по бублику или пирожку безденежно.

Когда маленьких кантонистов разсадили по подводам, старших возрастом, 11-ти и 12-ти лет, выстроили; ударили в барабаны, скомандовали «по отделениям направо скорым шагом марш, прямо». По слову «прямо» все кантонисты мгновенно, как бы по команде, сняли фуражки и набожно перекрестились. Бедные, бедные дети! ни одному из вас не могло даже присниться, какое горе вас постигнет наяву, чрез несколько дней!



Исторический вестник, май, т. XXXII, № 5, стр. 361-380;

VII

Поход наш до Чугуева.- Партионный унтер-офицер Чумаков.- Вечеринка у головы. - Возмутительная сцена. - Пьянство и его последствия для меня.- Прибытие в Чугуев.- Смотр начальника штаба.- Тягостный поход в Сватову-Лучку. - Смотр поселенного начальства. - Выбор поселянами кантонистов в «сыновья» и работники. - Жизнь кантонистов у их новых отцов». - Попытка помещиков добыть себе даровых крепостных людей.- Выбор кантонистов в Екатеринославский кирасирский полк. - Я попадаю во второй эскадрон. - Устройство землянок.- Собачье продовольствие. - Сон Пресвятой Богородицы». - Старые кантонисты.- Муштровка.- Выбор меня в трубачи. - Свины немца-капельмейстера. - Возвращение мое во фронт.

В течение похода нашей партии до Чугуева не произошло ничего, заслуживающего внимания. Без хвастовства могу сказать, что партию вел собственно я, а не кто другой, потому что, хотя и были назначены для этого партионный офицер и унтер-офицер, но первого почему-то возвратили на другой же день с дороги, а последний, Иван Сидорович Чумаков, был неграмотный и постоянно пьян; напивали его волостные головы, писаря и другое сельское начальство. В настоящее время волости берут квитанции от проходящих войск в том, что последние остались жителями довольны, а в то время, о котором я говорю, было наоборот, квитанции брались проходящими войсками от волости в том, что жители не имеют никакой претензии к проходящей партии, что солдаты ничего у них не украли и никого не били. По приводе партии на место, все такие квитанции сдавались начальству, тщательно их рассматривавшему. Потому-то Иван Сидорович, кроме собственного желания напиться еще вынужден был пить в угоду волостному начальству, чтобы получить похвальную квитанцию.

Во все время нашего похода, погода, не смотря на позднюю осень, стояла сухая и довольно теплая. Кормили нас хозяева превосходно, хотя никакой платы за продовольствие и подводы не полагалось. В каждой деревне, через которую мы проходили хохлуши выбегали из своих хат и обделяли нас, кто чем мог, лакомым: оладками, салом, палялицами, арбузами. Многие хохлуши, раздавая эти лакомства детям, горько плакали. Все это повторялось каждый день без малейшего изменения.

Только однажды произошел особенный случай, которого я не забуду никогда. Не помню, в какой деревне, где был назначен нам ночлег, разгулялся голова, по всем правилам деревенского кутежа т. е. беседы с музыкантами. Мне, как караульному ефрейтору, обязательно нужно было ходить каждый вечер за приказанием к Ивану Сидоровичу, т. е. партионному унтер-офицеру, хотя приказывать, в сущности, было нечего. И вот, в этот достопамятный вечер, я, по обыкновению, отправился за приказанием. Вестовой, находившийся постоянно у партионного унтер-офицера сказал, что ему приказано передать мне, чтобы я отправился к голове, где гуляет Иван Сидорович.

Явившись в дом к голове, я застал гульбу в полном разгаре. Три музыканта: скрипач, бубенщик и гусяр, усердно аккомпанировали поющим песню: «Ихав козак за Дунай». Когда песня окончилась, я выступил вперед и отрапортовал форменно: «Честь имею явиться за приказанием». Иван Сидорович сидел за столом на самом почетном месте, т. е. в углу под образами и, желая показать пред пирующими, что он важная особа, вылез из-за стола и начал отдавать приказания. Но так как голова и писарь самолично видели, что всем заведывал и распоряжался я, то и обратились ко мне с разными вопросами на счет подвод квитанции и т. и т. п., после чего, голова налил мне чарку водки, а жена его, уже пожилая и полупьяная, начала меня целовать, приговаривая: «Где ты, такой гарный, хлопчику, родився, и кто була твоя маты». От водки я наотрез отказался и, действительно, я никогда в своей жизни ее не пробовал. Считая свою

аудиенцию уже оконченной, я хотел идти на свою квартиру, но Иван Сидорович вдруг скомандовал:

- Стой, пей водку!

- Иван Сидорович, - отвечал я, - я никогда ее не пил.

- А знаешь, - закричал он, - что хотя ты и капральный ефрейтор, но я могу тебе дать сто розог.

- Только не за то, что я не пью водки, - решился я заметить.

Но не окончил я еще последней фразы, как он, неожиданно, дал мне две пощечины, с таким усердием, что у меня буквально посыпались искры из глаз и, недовольствуясь этим, послал находившагося тут же десятского в сборню за розгами. Все присутствующие за меня заступились: голова, писарь, жена его и другие, бывшие в беседе.

- За що его сикты, - говорили они, - вин хлопчик моторный и гарный; да мы и не дамо его бить. Колы хочете гулять, то гуляйте, а як хочете бытсья, то идить, геть, из нашей компании; вы и так, сердечнаго, задаром по пыци были.

Но Иван Сидорович, совершенно пьяный, не унимался и кричал:

- Высеку, пусть выпьет две рюмки водки, тогда прощу.

Тут принялись все меня уговаривать, в особенности, головиха:

- Выпей, хлопчику, выпей; я и руку твою за то поцалую.

Видя, с одной стороны, искренние советы, а с другой, совершенно пьяного начальника, который мог привести в исполнение свою угрозу, и при том же ошеломленный полученными пощечинами, я решился выпить, поднесенная мне головою, две чарки водки, залпом, как пьют, обыкновенно, противное лекарство. Такая храбрость заслужила общее одобрение; мой начальник, шатаясь, подошел ко мне, обнял, начал целовать, потребовал еще рюмку водки и заставил выпить до дна, что я и исполнил, и за это вторично был им разцелован; после того, жена головы начала подчивать всех и уже в очередь заставила меня опять выпить полную рюмку, а затем голова скомандовал музыкантам: «Загряйте метелыцы!» (любимый танец малороссов). Тут все и всё закружились. Меня подхватила головиха и я давай отплясывать, да еще как усердно. Мы плясали все, сколько нас было в хате; даже десятский, который все время безучастно стоял возле порога, не вытерпел и пустился плясать. Уже музыканты устали, но перестать играть не смели, потому что голова разошелся и, притоптывая, в такт припевал: - «А ще, ще, а ще, ще». Наконец, музыканты не выдержали и умолкли. Мы опять выпили. Я опьянел, разгулялся и закричал музыкантам: - «козачка!» Подхватив первую попавшуюся мне молодлицу, я так усердно начал откалывать, что оба подбора и одна подошва отлетели в сторону. Я плясал долго, и с каждой минутой все более и более пьянел, а тут со всех сторон сыплется похвалы: «Молодец, лихо, да и

гарно выкидае ногами, бисов сын». Поощряемый такими похвалами и желая еще более удивить публику, я вздумал выкинуть какое-то замысловатое па, но, недостигнув цели, запутался и упал к ногам своей дульцинеи; подняться на ноги я уже никак не мог, а потому меня вынесли, уложили на подводу и отвезли на квартиру. Затем. я больше уже ничего не помню. Проснувшись на другой день, я думал, что умру от страшной головной боли, доводившей меня до дурноты. А тут, как на зло, пришел пьяный партионный с своими извинениями в том, что обидел меня напрасно. Разумеется, я охотно его извинил, тем более что мордобитие не считалось у нас чем-либо обидным, но, напротив, всякий был рад, если отделялся только этим.

Вскоре после этого приключения, нас нагнал партионный офицер, и мне стало уже гораздо легче, потому что Иван Сидорович напивался только по фельдфебельски, т. е. на ночь, а дела и возни с кантонистами было не мало.

Наконец, мы прибыли в г. Чугуев. На другой день приказано было надеть все новое, и партионный офицер повел нас на плац, против здания корпусного штаба, где мы часа три ожидали выхода к нам какого-то генерала. Было довольно холодно, и дети крепко озябли. Наконец, явился начальник корпусного штаба, сопровождаемый многими адъютантами. Он поздоровался с нами, и мы усердно гаркнули: «Здравия желаем вашему превосходительству!» После этого он начал осматривать фронт и, как видно, очень остался недоволен, потому что напал на партионного офицера:

- Зачем вы привели к нам эту мелюзгу? для какого чорта они нам? им нужны няньки!

Партионный офицер был, разумеется, тут не при чем; он был даже не нашего баталиона, а местного гарнизона, но он не оправдывался, а все время держал руку под козырек. Наконец, генерал успокоился и приказал офицеру явиться в штаб за приказанием, а нас распустить по квартирам. Дня через два, мы выступили опять в поход, в Сватову-Лучку, которая в бумагах называлась Новый Екатеринославль; до нея от Чугуева было 150 верст, и здесь в окружности была расположена кирасирская дивизия.

Получив в Чугуеве от генерала такой афронт, дети повесили носы и начали толковать: «А что будет, если нас и там забракут?» А тут, как на зло, погода совершенно переменилась: пошел дождь, в перемежку со снегом, поднялся сильный, пронзительный ветер. Дети плакали; подвод для уставших и обмерзших не хватало. Нужно было на каждом ночлеге требовать от жителей полушубков и брать их насильно. Кормили нас тоже очень плохо и далеко не охотно. Много бед испытали мы, пока доплелись до Сватовой-Лучки, где должны были представиться поселенному начальству. Два дня нас не трогали с наших квартир. Это время нужно было начальству для того, чтобы собрать бездетных поселян, которые могли по желанию брать себе в семью кантонистов. Разумеется, желающих

набралось много. Кому же была охота отказываться от дарового пастуха или работника.

На третий день, нас выстроили на плацу, возле собора. Явилось поселенное начальство. Во главе их был окружной начальник, подполковник Макарский (поляк). Сделана была перекличка партии. Затем, начальник округа сделал краткое, но внушительное, наставление всей партии, чтобы мы полюбили и повиновались новым своим отцам, матерям и хозяевам, в противном случае, нас будут нещадно сечь. Дети, не предупрежденные и не ожидавшие такой катастрофы, ничего не поняли, что толковал им его высокоблагородие. Какие такие отцы, матери и хозяева, которых надо любить и повиноваться, и кого, и за что будут нещадно сечь? Но скоро недоразумение объяснилось. Скомандовали: «Задняя две шеренги отступи». Эту фронтовую эволюцию кантонистика бойко выполнили, но уже каждый в последний раз в своей жизни. Поселяне, желавшие получить вновь испеченных сыновей и даровых работников, стояли недалеко кучками. Прежде всех дозволено было лицам, желавшим приобрести «сыновей», ходить по фронту и выбирать себе любого сына. Отцы ходили по фронту не торопясь, внимательно ощупывали приглянувшегося им кантонистика, заставляли его пройтись и т. п. Не знаю для чего, некоторые заставляли избранных даже поднимать ноги кверху. Осмотр этот делали они, точь-в-точь, как в настоящее время барышники покупают лошадей, волов и прочий скот. Выбор сыновей продолжался довольно долго.

Наконец, начальство соскучилось и закричало: «Долго ли вы будете выбирать? выходи из фронта записываться!» Тут же писаря записывали сыновей двойными фамилиями, т. е. его настоящею и новаго отца, что выходило довольно оригинально, например, Тарновский-Чуприна, Молотов-Гайдамака, Зверев-Кваша, и т. д. Затем, дозволено было разбирать даровых работников. Тут уже произошла чистая суматоха, потому что поселян было больше, нежели кантонистов. Хватали без разбора всякого, кто попадал под руку. Кому не доставало, тот отнимал у своего собрата; ухватив за руки несчастного мальчика, тащили в противоположные стороны.

Фронта в один миг не стало; остались только на своих местах одни евреи, которых никто не хотел брать. Однако, начальство насильно заставило поселян забрать и евреев. Когда дети ясно поняли, в чем дело, то начали плакать, протестовать и вырываться от своих новых отцов и хозяев благодетелей. Начальство скоро усмирило этот бунт, но произошло другое затруднение. Отцы не могли в такое короткое время заметить своих сыновей, а сыновья - отцов, равно и охотники не узнавали своих даровых работников. Нужно было сизнова делать перекличку и поверку; но дети снова вырывались и всячески прятались. Тогда поселяне снимали с себя пояса и одним концом перевязывали под руки детей, а за другой держались сами обоими руками и в таком порядке каждый тащил несчастного невольника до подводы, потому что поселяне были вызваны из всего округа и иные приехали верст за 60 и более.

Дети прощались между собою, обнимались, целовались и рыдали, как бы шли на смерть. В особенности жаль было бедных дворян, потому что все они были развиты более солдатских детей, и сильнее их сознавали свое унижение и безвыходное положение. Плакал неутешно и я; да и в настоящее время, описывая былое, я невольно всплакнул, но не от малодушия или разслабленных нервов. Я даже вполне уверен, что и вы, читатель, уронили бы слезу, если бы этот самый эпизод был описан человеком, владеющим умело пером. Я же могу только сильно чувствовать, но передать то, что было и что перешло уже в историю, для этого мое перо слишком слабо. Одно могу только сказать, что я бывал в хороших театрах, не только в России, но и за границей, и, конечно, видел разные драмы и трагедии, но все они бледнеют перед той трагедией, не искусственной, а натуральной, которой я был свидетелем, и со времени которой прошло уже ровно 52 года; но она не забыта мною и по настоящее время, и так врезалась в памяти, как будто бы это происходило вчерашний день.

На плацу, куда была приведена партия, состоящая из 250 человек, нас осталось только семеро, нерозданных поселянам, а именно: я, четыре десяточных ефрейтора, и два барабанщика. Нас велено было развести по квартирам и ожидать прибытия первой роты. Так как раньше шли младшая рота, то нам пришлось ждать первую довольно долго, почти месяц, а уже был ноябрь. Весь батальон следовал эшелонами, по тому же самому маршруту, как шли мы; заходили также все в Чугуев, а после в Сватову-Лучку, а из последней выступали в остальные три округа военного поселения. Прежде прошла четвертая рота, малолетки которых было около 700; но здесь их уже не роздавали поселянам, а препровождали в остальные округа, где с ними распорядились таким же порядком, как с нами в Сватовой-Лучке, т. е. роздали отцам и хозяевам.

В ожидании своей роты, не имея никакого занятия, я очень скучал. Читать было нечего, и я от скуки посещал кантонистов, которые поступили в сыновья и работники к хозяевам той же Сватовой-Лучки. Какая перемена произошла в детях за одну только неделю! Все они были неузнаваемы в оборванных обносках своих отцов и хозяев. Куда делась их детская резвость и веселость! Все они были задумчивы и сосредоточены. Несчастные ненавидели своих искусственных отцов и матерей, но, повинясь палке, работали все, что им прикажут. Начальство жестоко ошибалось, думая, что также легко привить детей к родителям, как садовник прививает облагороженный черенок к дичку груши или яблони.

Впоследствии, время, а еще более палка, взяли свое и дети покорились своей участи; они повзросли, поженились, вырастили детей и сделались сами поселянами.

Четвертая и третья роты проходили мимо. Их уже не трогали в первом округе. Выбрали только из третьей роты несколько пятнадцатилетних кантонистов в фельдшерские ученики и полковые певчие. В Сватовой-Лучке находился первоклассный госпиталь и был расположен дивизионный штаб первой кирасирской дивизии. От писарей я узнал, что когда подойдут старшие роты, то

нас, кантонистов, распределять в школы, имевшиеся при каждом полку и называвшаяся ланкастерскими. Комплект учеников в каждой школе полагался в 50 человек; возраст для приема не менее 16 лет. Каждой школой заведовал только один учитель, унтер-офицер, имея у себя помощника, по выбору своему из кантонистов. Никакого общего помещения для школы нет, а учатся кантонисты по хатам. Кантонисты продовольствуются от жителей, но теперь, говорили писаря, будет не то. Велено сформировать при каждом полку по два эскадрона, комплект которых должен быть по 220 человек, в каждый эскадрон назначить одного строевого офицера, продовольствовать нас из котла и менее 16 лет кантонистов в эскадроны не принимать.

Весть о том, что поселянам раздают даровых работников, разнеслась по окрестностям, и соседним помещикам, особенно мелкопоместным, стало завидно. Им также захотелось добыть себе, без всяких затрат, лишних крепостных, и они вдруг двинулись в Сватовую-Лучку. Скоро их нагрянуло столько, что Лучка с основания своего ничего подобного не видела и, наверное, уже не увидит. На постоянных дворах не хватало помещения, а потому многие приезжие начали напрашиваться к зажиточным поселянам. У поселянина, где я квартировал, поместились два помещика и одна помещица. Узнав, что я из прибывших кантонистов, помещики позвали меня к себе, принялись расспрашивать все подробности и в заключение спросили, как я думаю, дадут ли им кантонистов? Я выразил сомнение, но они не теряли надежды. После них начала меня допрашивать и помещица. Видно я ей понравился, потому что она, взяв меня за подбородок, спросила: - «А ты желаешь поступить ко мне в крестьяне?» Я ответил отрицательно. - «Да тебя и спрашивать об этом не будут, - возразила она. - Я тебя возьму непременно». Я порядочно струхнул, думая, а что, как вдруг она меня и выпросит. Но на другой день в окружном комитете, куда они явились, все получили безусловный отказ и убралась с огорчением восвояси.

Наконец прибыли 1 и 2 роты; но не полные. Часть их оставили в Чугуеве для распределения в уланы и артиллерию. Нас всех выстроили поротно и начали выбирать в первый кирасирский полк, который в то время именовался «Екатеринославским». Выбирало уже военное начальство и, конечно, выбирало лучших, но не по познаниям в науках, а по молодцоватости. Остальных затем отправили в другие округа для той же цели. Нам же, выбранным в Екатеринославский полк, на другой день велено выступать в места расположения эскадронов.

Я попал во второй эскадрон, в селенье Вдованку. По приходе сюда, нас разместили по квартирам и тут случилось маленькое недоразумение. Поселенному комитету в предписании сказано было разместить нас по квартирам для одного лишь ночлега. Продовольствоваться мы должны были из котла; но оказалось, что не только нет никакого котла, но даже и самых кухонь; а, между тем, хозяева нас кормить не хотели. Прибыли вновь назначенные семь унтер-офицеров во главе с вахмистром, но они все были как в лесу, не понимая ровно ничего, что делать, и что предпринять.

Эскадронный командир и не думал к нам являться; хозяйева же знать нас не хотели. Положение наше было самое плачевное. Отправился вахмистр в полковой штаб и привез предписание, чтобы поселяне прокормили нас одну неделю. Поселенное начальство в видах безопасности от пожара отвело нам место для землянок, варенная каши и печения хлеба, слишком за версту от крайних хат поселения. Назначили из нас 50 человек рыть землянки. Земля была мерзлая, более чем на аршин, но все-таки в три дня явились землянки с печами. Привезли чугунные котлы; назначили хлебопеков и кашеваров, все-таки из нас, вновь прибывших, не имевших ни малейшаго понятия в варении каши и печении хлеба.

Старых кантонистов не трогали на черныя работы. Наварили каши и напекли хлеба. Хотя и другое было настолько вкусно, что даже собаки ели неохотно. Говоря это, я не преувеличиваю ни на волос. Так как на дворе обедать было невозможно, вследствие сильных морозов и вьюг, то для обеда и ужина отвели десять крайних хат. Посуды не было никакой, ни мисок, ни ложек, и кашу носили из кухни в ведрах. Хозяйева не давали нам ничего от злости, что им сделали такую неприятность. И действительно, неприятность для них была большая. Два раза в день к ним в хату врывалось по 20 человек. Хозяйке нужно стряпать, а между тем, негде поворотиться; при том вошедшие каждый раз напустят холоду. И все это хозяйевам нужно было терпеть без малейшаго вознаграждения от кого бы то ни было. Кантонисты начали красть ведра для ношения каши, но пока ее принесут за версту, она простывала. Начали красть корыта и, как бы холодно ни было, ели около землянок. После каждого обеда и ужина все страдали сильнейшей ижжогой. Многие не только не могли есть этой каши и борща, но даже не ходили вовсе на обеда и ужина. В числе их был и я. Мы питались одним хлебом и то годным только для собак. Не знаю, что бы мы стали делать дальше, если бы Бог не сжалился над нами. Не даром пословица говорить, что «над сиротою Бог с калитою».

Ни в то время, которое я описываю, ни в настоящее время, никто не знает, кто был автор сочинения «Сон Пресвятыя Богородицы». Это была маленькая тетрадка листа в два, где говорилось, чтобы люди покаялись, соблюдали посты, любили друг друга и проч. и проч., в противном случав настанет конец света. Но самое главное в этом сочинении было сказано, что кто в своем доме будет иметь означенный «Сон Пресвятыя Богородицы», тот избавлен будет от всех бед и напастей, какия только существуют на земном шаре. Кроме того, владельцу «Сна» посыпятся, как из рога изобилия, все возможные и не возможные богатства и благополучия. Как же было простолюдину не стараться, во что бы то ни стало, добыть такую благодать. Каждый хозяин, а в особенности хозяйки, употребляли все старания поскорее приобрести «Сон Пресвятыя Богородицы». Посыпались заказы, и мы ночью, при каганцах, писали не сотни и не тысячи, а десятки тысяч «Снов Пресвятыя Богородицы»; требование этого «Сна» доходило до какой-то эпидемической болезненности. Кормить начали не только тех, которые писали и читали хозяйевам, но и тех, которые вовсе не умели писать. Кроме того, нам давали холста на рубашки и обязательно по 80 коп. ассигн. (20 коп. сер.) на

бумагу. Кормлению нашему помогло еще одно обстоятельство: кантонист Яковлев (из дворян) сделал в «Сне Пресвятыя Богородицы» маленькое прибавление такого содержания: «Аще кто будет хорошо кормить и мыть белье (до того мы мыли сами) кантонистов, возлюбленных моих детей, растущих Христолюбивых воинов, которые будут побивать турков и супостатов, того я буду особенной заступницей пред возлюбленным сыном моим Иисусом Христом».

В каждом селении военного поселения было по 500 и больше дворов и потому можно судить как возросло требование на «Сны», и нам, хорошо писавшим, положительно падала манна с неба.

Но это была одна сторона медали. Теперь надо возвратиться к ее изнанке. Все мы, вновь прибывшие, разделены были на десятки.

Каждому десятку назначен был старый кантонист. Отвели более 20 хат для класснаго учения, но никакого класснаго учения не было, а обучали нас татакать по пальцам кавалерийския и артиллерийския сигналы, для чего мы садились по турецки на земле (никаких скамеек не полагалось) в кружок, в середине котораго находился старый кантонист, наш менторь, который полноправно нас наказывал и миловал, смотря по его смотрению и произволу. Все старые кантонисты важничали пред нами, но это не мешало им брать с нас взятки бубликами, булками и проч. Вахмистром приказано было каждому из нас достать себе пику, палаш и ружье деревянное; в тех местах, о которых я пишу, лесов нет, у хозяев каждый дрючок имеет ценность и свое назначение; кроме того, не всякий мог сделать себе упомянутое оружие. Я первый не знал как владеть топором, но приказ дело исполняет: хоть тресни, но чтобы было. Приходилось плохо, но и тут нас выручил «Сон Пресвятыя Богородицы». Хозяйки, видевши наше затруднительное положение и даже слезы и зная притом строгость вахмистра, начали просить своих муженьков, чтобы те достали нам смертоносное наше оружие. Сначала мужья отнекивались, но в конце концов уступили своим половинам и выкопали откуда-то не одного, а троих доморощенных мастеров, которые за известное вознаграждение отлично нас вооружили.

Считаю не лишним сказать здесь несколько слов о старых кантонистах. Большая часть их были почти не грамотные, но рослые и здоровенные. Обмундировка их была самая плохая: белыя куртки, с оранжевыми воротниками, обшлагами и эполетами; брюки сераго, толстаго, шинельнаго сукна, с оранжевыми кантами. От этой ли обмундировки, или на самом деле, но они все без исключения были брюхатые, неуклюжие и красиваго лицом положительно не было ни одного, так что каждый из нас прибывших, даже с бельмом на глазу, мог назваться панычем, в сравнении с ними; обмундировка наша была также лучшаго достоинства и красивее. Черныя куртки с красными кантами и такими же брюками. Никакого оружия у нас в отделении не полагалось и, кроме пешаго фронта, нас никаким строевым эволюциям не учили. Но здесь было совсем не то.

Ружейные приемы, фланкировка пиками, рубка палашами, верховая езда, для чего имелось в каждом эскадроне по 15 бракованных лошадей, пеший строй и пеший по конному (т. е. делать все то пешком, что делается на лошадях), изустное учение, рекрутская школа, гарнизонная служба до мельчайших подробностей. Дальше, ведеты, пикеты, рунды, сигналы, взводное, эскадронное, дивизионное, полковое, бригадное, четырех-полковое и корпусное учения со всеми боевыми его порядками. И все эти муштры нужно было знать наизусть, и каждый частью уметь безошибочно командовать, начиная от взводного и до корпусного командира.

Да и принялись же нас муштровать, с таким прилежанием и рвением, что не только 25° морозы, но даже и метели не прерывали муштры. Снег залепляет глаза, ужасный холод, а мы, знай, пиками колем воображаемую неприятельскую пехоту и деревянными палашами ее рубим напропалую. Бросим колоть и рубить, давай стрелять, но уже не пехоту, а неприятельскую кавалерию из своих дубовых ружей. Даже гадко делается, описывая глупости немецкого нашего начальства, а потому подробности нашего учения, или, лучше сказать, мучения, оставляю пока и скажу об этом со временем в сокращенном виде, а теперь расскажу, как я попал в трубачи.

Пробыв в эскадроне месяца три, я вошел уже во вкус всех муштр, как вдруг является к нам полковой капельмейстер немец, с полковым же штаб-трубачем и с предписанием командира полка, допустить немца к выбору, по его усмотрению, четырех кантонистов в трубачи. Когда мы выстроились, немец пошел по фронту и первого выбрал меня. Ни просьбы учителя нашего Трофимова, доказывавшаго, что я подаю большая надежды, ни мои слезы, не смягчили немца, и он ни за что не согласился меня уволить. Затем он выбрал еще троих и нас всех четверых, со всеми нашими пожитками, отправили в полковой штаб, в Сватову-Лучку. По прибытии туда, нас поместили в казарму, вблизи музыкантской школы, где мы застали четырех кантонистов, тоже выбранных в трубачи из первого эскадрона; в число их попали два брата из потомственных дворян. Выдали нам сигнальные трубы, дали ноты, приставили к нам учителей солдат-трубачей и пошла потеха надувания труб. Но это бы еще не беда. Назначили нас по очереди дежурить в казарме, т. е. топить и содержать в чистоте ее. Назначили, тоже по очереди, ходить на вести к немцу капельмейстеру, у которого было до 15 штук громаднейших свиней. Обязанность вестового, т. е. наша, состояла в том, что мы должны были не только кормить и чистить хлевы этих животных, но даже мыть их лугом (настояем золы) и мылом.

Немец капельмейстер был предан душою, но не музыке и своей обязанности, а свиньям. Нужно было видеть умильную рожу этого немца, с сигарой во рту, во время мытья его друзей-свиней. Я говорю не в обиду немцам, что свиньи их друзья, потому что капельмейстер, не одному мне, а всем нам доказывал, что русский человек дурак, потому что считает другом собаку, а наш брат, говорить, немец, умный, потому что у него не собаки друзья, а свиньи. Ну что за толк от собаки какия из них могут быть колбасы, а из кабана отличная колбасы, окорока,

сальцесоны и еще многое другое. У него даже каждая свинья и кабан носили собственные имена, напр. Амальхень, Розалия, Фриц и т. п. Рассказывал он нам как-то вкусная готовится колбасы для начальника дивизии Кошкуля (тоже немец), его Амальхен, но не свинья, а его жена. Вообще, немец был болтлив, особенно при мытье его друзей - свиней. Однажды, когда я мыл его друга, кабана Фрица, я расшился воспользоваться расположением духа немца, и начал просить его отпустить меня в эскадрон, а на место мое взять другого, доказывая, при том, что я потомственный дворянин, и мне неприлично быть трубачом. Нельзя, отвечает проклятый немец, тебя отпустить, потому что ты отлично моешь моих свиней, и я замечаю, что они тебя любят; старайся еще лучше, и я, со временем, произведу тебя в штаб-трубачи». Нужно заметить, что капельмейстер говорил очень дурно по-русски, но я не копирую его, потому что он мне и без того до невероятия отвратителен и гадок. Но трубить и мыть свиней все-таки было надо.

Прошло месяца два; я уже оказал большие успехи, отлично трубил все сигналы, начал уже разигрывать генерал-марш и помню, как теперь, что мне не поддавалась какая-то нота, которую я со всем усердием вытрубивал, сидя на нарах. В это время на тех же нарах два кантониста-трубача боролись и оба со всего размаха упали на мою поднятую вверх трубу, мундштук которой дал мне такой сильный толчек в зубы, что два из них пошатнулись и губа, не больше как чрез час, распухла и в таком виде одеревенела. Выждал капельмейстер недели три и видит, что губа моя не только не проходит, но делается нарыв. Тогда уже поневоле он заменил меня другим, и я опять вернулся во фронт, в свой эскадрон, который в то время прибыл на все лето в Сватову-Лучку, в так называемый компанент.

VIII

Полковой командир Кнорринг и командир четвертаго эскадрона немец.- Их авторское обращение с солдатами. - Жалоба солдат. - Жестокая экзекуция.- Новый полковой командир полковник Туманский.- Наше учение по методе Ланкастера.- Мои успехи.- Мое преподавание юнкерам.- Моя генеральная маршировка.- Восторг начальника дивизии.- Поцелуй полковой командирши.- Смотр корпуснаго командира Никитина.- Его слабость осматривать ноги и портянки.- Смешной случай с унтер-офицером Ченским.- Осмотр генералом Никитиным строений.- Арест полковника Макарскаго в погребе.- Подвиги поручика Кошкуля.- Высвеченный и обманутый почтмейстер.- Итоги нашего учения.- Зачисление меня рядовым в кирасирский великой княгини Марии Николаевны полк.

Не помню фамилии командира полка, котораго мы застали в 1836 г., кажется Кнорринг. Не утверждаю этого, но знаю хорошо, что он был немец и жесток до зверства. Зверству его я был сам свидетелем, в начале 1837 г., когда был взят в трубачи. В это время четвертым эскадроном командовал немец, фамилии его не помню; он тоже был зверь и наказывал солдат, унтер-офицеров, и самага вахмистра, до безчеловечности. Они терпели сколько могли, наконец, не вытерпели и сговорились целым эскадроном ночью бежать в полковой штаб,

принести жалобу командиру полка на жестокость своего эскадронного командира и представить в подлиннике свои израненные тела.

Для присмотра же за лошадьми они оставили нужное число солдат и одного унтер-офицера. Вахмистр повел эскадрон, более ста человек, пешком. Прибыв в Сватову-Лучку, вахмистр выстроил своих солдат пред окнами командира полка, который выйдя к ним и узнав в чем дело, отправил всех на гауптвахту. Лейб-эскадрон и второй были вызваны для экзекуции. Припасено было восемь возов розог и палок. Привели на другой день несчастных в нашу музыкантскую школу, которая для экзекуции была удобнее гауптвахты по своему простору и, Боже праведный, что тут было! Не дай Бог ни одному крещеному человеку видеть что-нибудь подобное, а не только испытывать. Это была не экзекуция, а просто бойня. У каждого из несчастных и без того были изранены плечи от палок эскадронного командира, но на это не обращали ни малейшего внимания. Сначала каждого секли розгами, а потом били палками. Когда который-нибудь переставал кричать, полковой штаб-лекарь (тоже немец) приводил его с фельдшерами в чувство, после чего жертву опять клали и досчитывали тысячу ударов. Вахмистру же и унтер-офицерам досталось больше всего. Бедняга вахмистр, красавец и во цвете лет, не вынес и чрез неделю отдал Богу душу. Да и не один он, а многие отправились вслед за ним.

Следствия по этому делу никакого не было, но чрез два месяца командир полка и эскадронный командир четвертаго эскадрона, были уволены без прошений; это мне рассказывали солдаты - трубачи, и за верность я не ручаюсь. Знаю только, что их не стало, а прибыл новый командир полка, полковник Михаил Иванович Туманский, предобрейший и благороднейший человек, и вовсе не педант по службе, что в то время было редкостью. Нас кантонистов он в особенности любил, но муштры отменить не мог, потому что выше его была немецкая сила. Все лето нас муштровали в Сватовой - Лучке и только 1-го октября отпустили по своим деревням, где в отсутствие наше поселенное начальство выстроило нам огромная плетневая, вымазанная глиной школы, с полным, для сиденья, комплектом скамеек. Посредине школы была устроена конторка со стулом, на котором и восседал наш добрый, но глупый учитель Трофимов.

По обе стороны конторки красовались на стене, в аршин длины, две доски, одна белая, а другая черная, с надписями на правой «прилежнейшие» и на второй «ленивые». Зимой никакого класснаго учения не было, да и не могло быть, потому что в школе было холодно, почти как на дворе; никакия топки не помогали. Стены были тонки, потрескались и образовали большие щели, так что не только ветер свободно дул, но даже пролетал и снег. Да если бы и тепло было, то все равно учить бы нас было некому, в особенности средний и верхний классы. Мы все в десять раз больше знали своего учителя Трофимова. Он даже и десятичных дробей не знал, а о других предметах не имел никакого понятия. Помощник же его, Макаровский, знал до совершенства только командование Всеми частями строевого учения, которое с величайшим усердием и преподавал нам.

Пропускаю два года, потому что в течение их не случилось ничего особенного, и наша жизнь текла однообразно, как я уже ее описал.

Я делал большие успехи во всех муштрах, постоянно был записан на белой доске и на наших ученьях дошел до «командования полком».

В 1839 г. я уже «командовал дивизией» и давал уроки своего профессорства юнкерам не только своего полка, но и юнкерам целой дивизии, собиравшимся в Сватовой - Лучке при дивизинном штабе. Почти все юнкера были люди богатые, платили мне за уроки щедро и дарили разную форменную одежду. Хотя я был кантонист, но одевался как юнкер и только не носил галунов. Скоро я заслужил расположение моих учеников, и они стали обращаться со мной как с равным.

Меня и здесь не переставали назначать ординарцем, не только пешим, но и конным, и я всегда отличался. Один раз я даже так отличился, что век не забуду. Был назначен развод целому полку, который в то время был в сборе. Как известно, при разводе от каждого эскадрона являются ординарцы, в числе которых был и я от своего эскадрона. Развод делал начальник дивизии Кошкуль. Начали являться ординарцы, подошла моя очередь; я отрапортовал и после этого пошел на свое место.

Начальник дивизии, всмотревшись в мою маршировку, пришел в восторг, скомандовал мне «на лево, кругом, - марш», и кричит «хорошо!» я кричу в свою очередь: «рад стараться, ваше превосходительство». Генерал приходит в еще больший восторг и кричит: «браво»; я опять кричу: «рад стараться и проч.». Генерал велит мне маршировать во всю длину выстроенного полка, для образца гения моих ног. Дохожу до конца. Командует опять на лево, кругом, марш, что я, конечно, и делаю и, зная себе, откалываю пред целым полком, держа деревяшку-палаш по унтер - офицерски. Пот льет с меня градом, но не от усталости, а от стыда. Ведь мне уже 19-й год, и я уже кое-что сознаю. Во все время моей генеральной маршировки, музыканты трубачи не перестают наигрывать австрийский учащенный марш и даже играют его усерднее обыкновенного, как мне казалось, в насмешку мне.

Но этим мучения мои еще не окончились. Его превосходительство говорит командиру полка Туманскому: - «Смотрите, смотрите, какой у него размер шага, какой каташ, какая выправка; да смотрите же с каким он чувством марширует!» А полковник Михаил Иванович, взявши под козырек, говорит: «Да, действительно так, я даже нахожу, ваше превосходительство, что в его маршировке есть много даже поэзии». Ну, думаю я, теперь высмеют меня товарищи кантонисты. И действительно, смеялись не только товарищи, но даже офицеры. Как только мы в строю с полком, офицеры сейчас идут к нашему эскадрону и просят меня: «Пожалуйста К. промаршируй нам с чувством». Я забыл сказать, что начальник дивизии дал мне целый рубль; такой суммы он никому и никогда не дарил. Но я не только не был рад этому рублю, но проклял его вместе с его дарителем.

Его превосходительство настолько был умен, что не понял насмешки над ним командира полка Туманского, который в это время был уже флигель - адъютантом, потому что наш полк был «подарен» в шефство на маневрах в Вознесенске, великой княгине Марии Николаевне, при чем Туманский получил не только орден и звание флигель - адъютанта, но даже премиленькую и прехорошенькую женку, фрейлину Марии Николаевны, которую я имел счастье целовать в самую миленькия, розовыя губки, по следующему случаю.

Командиру полка угодно было выбрать из обоих наших эскадронов шесть человек кантонистов из дворян и велеть по очереди посылать к себе на ординарцы, но без всякаго оружия. Обязанность наша состояла в том, чтобы безотлучно находиться в передней и докладывать о каждом приезде, кто бы он ни был, а также убирать в зале, когда разбросаны газеты и книги, что мы и исполняли. Однажды, Михаил Иванович вызвал меня на двор и говорит: «Когда соберутся сегодня офицеры к завтраку, то ты ухитрись поцеловать мою жену в губы, да только, смотри, осторожно, не ударь ее головою», Разумеется, я в точности исполнил приказание, за что командирша полка выдрала за уши не только меня, но и муженька своего. К осени этого же года я «командовал уже корпусом». Не помню фамилии генерала, который приезжал из Петербурга инспектировать полки и нас кантонистов, и который чрезвычайно остался нами доволен, в особенности мною, и подарил мне десять руб. сер.

Когда на смотре после ружейных приемов пришла очередь фланкировки пиками и рубки палашами, то его превосходительство пришел в такой восторг, что закричал «hora! bis! bis!» и даже ногами затопал, вышло очень оригинально и смешно, что генерал, да еще инспектор, аплодирует фронту.

Корпусным командиром мы застали генерала от кавалерии Никитина, котораго в скорости сменил Сиверс, а последняго барон Офенберг. Никитин был старик 80-ти лет и любимец покойнаго государя Николая Павловича. Старик этот позволял себе иногда чудить. Он смотрел нас кантонистов неоднократно, и каждый раз обходилось все благополучно. Но в 1838 г. был нам назначен смотр в Сватовой - Лучке около школы и манежа перваго эскадрона, который перевели из Преображенной в полковой штаб.

У корпуснаго командира была особенная страсть смотреть портянки и наши ноги, для чего на каждом смотре приказывал нам сбрасывать сапоги. Все знали эту слабость старика и потому портянки и ноги наши были всегда в наилучшем виде. И на настоящем смотре, все у нас было в исправности, но, как видно, старику захотелось, во что бы то ни стало, поймать кого-нибудь с грязными портянками. Осмотрев наши портянки, а также ноги, и не найдя ничего подозрительнаго, ему вдруг пришла фантазия, чтобы наши унтер - офицеры, которых было по девяти в каждом эскадроне, и которые в полной форме стояли на правом фланге, сбросили сапоги и показали свои ноги и портянки, чего прежде никогда не делалось; унтер - офицерам не так-то легко было раздеться как нам и они не могли сделать этого без посторонней помощи. Штрипки, лядунка с

крючками назад, палаш и перчатки-краги, все это не позволяло самому раздеться. Приказано нам раздевать наших унтер-офицеров, не исключая вахмистров и учителей, что мы исполнили в один миг. И, о ужас! что увидел корпусный командир: ноги и портянки одна грязь! Только у одного унтер-офицера учителя 1-го эскадрона, Ефремова, оказалось все в исправности; корпусный командир приказал ему вести всех остальных унтер-офицеров фронтом к речке Красной, которая была не более как в десяти саженьях. Ефремов командовал: «шеренга направо, скорым шагом марш». Унтер-офицеры, босые, неся сапоги и портянки в руках, замаршировали к речке, и корпусный командир, стуча по земле толстой палкой, безотлучно находившейся с ним, приговаривал: «раз, два, раз два, раз два», пока они не пришли таким церемониальным маршем к речке.

В это время под кручей речки приютился унтер-офицер нашего эскадрона, Ченский, который как-то ухитрился удрать из фронта, когда приказано было раздеваться, потому что не имел вовсе портянок. В этой круче был небольшой выступ, на котором он и прилепился, держась руками за кустик бурьяну, Неизвестно, что было причиной бурьян оборвался, или выступ осунулся, но только Ченский в полной форме бултыхнулся в речку, где было глубины более трех сажень. Корпусный командир от такой неожиданности отскочил назад, а Ченский, достав до дна Речки, вынырнул на поверхность воды и закричал сколько было мочи: «спасайте, братцы!» Мы стояли вольно и потому все бросились к реке, человек 20, живо разделись и спасли Ченского. Смешно даже теперь вспомнить картину, как Ченский в полной форме и в каске с размокшим плюмажем при лядунке и огромном палаше, в крагах, барахтался в речке и как кантонисты вытаскивали его.

Но этим эпизодом Смотр еще не окончился. Все постройки военных поселений находились в ведении поселенного же начальства и корпусный командир любил всегда их осматривать. И в настоящее время он обратился к окружному начальнику, тут же присутствующему, полковнику Макарскому, с предложением:

- А поведи меня, батюшка (поговорка его), по своим новым постройкам.

Все пошли гурьбой осматривать новые строения, выстроенные для кантонистов 1-го эскадрона, как-то, школу, манеж, кухню, конюшню. Все это Никитину не понравилось. Строение было плетневое, плохо вымазанное глиной. Подошли к погребу, где хранилась капуста, бураки, картофель и прочие продукты, потому что оба эскадрона кантонистов, каждое лето продовольствовались из котла. Погреб этот хотя и был новый, но одна стенка его обвалилась и между кадушками лежала земля, отчего развелась сырость и большая грязь. Началась распеканция; в конце концов корпусный командир сказал окружному начальнику Макарскому:

- А вот я тебя, батюшка, как запру в этот погреб, то ты у меня будешь получше смотреть за казенными постройками- и, действительно, так и сделал; запер полковника Макарскаго на замок, тут же висевший около скобки, а ключ

положил себе в карман и уехал. Нужно заметить, что полковник Макаровский был необыкновенной толщины и брюхо его было такой величины, что подобного я никогда не встречал. От этого он был и большой обжора. Заточение его началось около 12 часов, прошло часа четыре, а он все сидит себе в погребе в полной парадной форме. Наконец, он не вытерпел и начал крепко стучать в дверь. Подошел наш вахмистр Яропольский и спрашивает чрез дверь:

- Что вам угодно, ваше высокоблагородие?
- Есть хочу.
- Да как же подать?
- Спусти,- говорит Макаровский,- в продушину по шнуру кусок хлеба.
- Нельзя, ваше высокоблагородие, без разрешения начальства.
- Дурак! пошли за женою.

Та явилась и, узнав в чем дело, поскакала на дрожках обратно домой и привезла разной провизии, которую в платочках и спускала по веревочке в продушину. Накормив, таким образом, несчастного своего муженька, полковница полетела к корпусному командиру, который уже позабыл, что у него в кармане ключ от погреба, где заточен полковник Макаровский. Ключ был отдан жене узника, и она поспешила к погребу; но оказалось, что радость ее была преждевременная. Вахмистр Яропольский ни за что не дозволил отпереть погреба, пока не приехал адъютант корпусного командира. Все причуды Никитина были в таком же роде. Но ему можно было многое простить. Во-первых, он был 80-тилетний старик, во-вторых, заслуженный и любимец царский, а в-третьих, человек русский и при том большой патриот. Уместно будет сопоставить здесь причуды немцев - генералов, отличившихся в этом году.

У нашего начальника дивизии, Кошкуля, был один только сынок, и вследствие этого избалованный до нельзя. При мне этот сынок поступил юнкером в наш полк, при мне дослужился до чина штаб-ротмистра и при мне же был разжалован в рядовые. Будучи ещё в чин в поручика, этот сынок Кошкуля отправился за чем-то на почту, где почтмейстером был человек православный, в чине титулярного советника, семейный и предобрый. Не известно чем прогневил почтмейстер поручика Кошкуля, который прямо из его конторы отправился на гауптвахту, взял с собой десять человек солдат, с двумя охабками розог, завернутых в солдатские шинели, вернулся в контору, при которой была и квартира почтмейстера, и распорядился следующим образом. Четырех солдат он поставил около дверей, палаши наголо, и не велел никого впускать. Четыре солдата раздели и положили почтмейстера, а остальные два дали несчастному сто заливчатских розог. После этого, солдаты, как будто бы ровно ничего не случилось, ушли на свое место, на гауптвахту, а поручик Кошкуль к себе домой обедать с его превосходительством папашей Кошкулем. Нужно заметить, что в этот день поручик Кошкуль был дежурным по караулам, что, конечно, еще больше увеличивало его проступок.

Почтмейстеру было нелегко перенести сто ударов розог. Он заболел. Жена его, находившаяся в беременности, выкинула мертвого ребенка и также слегла. Начальник дивизии Кошкуль, узнав о подвиге своего возлюбленного сына, порядком струхнул. Посланные им доктора - немцы начали усердно лечить почтмейстера и его жену и к общему удовольствию, чрез месяц, они начали поправляться. Возникло дело. Нужно было во чтобы то ни стало потушить его. Но почтмейстер не поддавался на уступки. Узнали об этом все немцы - генералы и прискакали в нашу Сватову - Лучку выручать собрата. Наехало к нам генералов и полковников-немцев целая толпа, не только из нашей дивизии, но даже из всего корпуса. Они начали действовать самым энергическим образом. Были пущены в ход и угрозы, и обещания. Обещали даже выхлопотать пострадавшему место губернского почтмейстера, насулили разных орденов и, вдобавок, предложили 5000 рублей ассигнациями.

Закружили бедного почтмейстера, который, наконец, сдался и подписал мировую, сочиненную премудрым, в этих делах, дивизионным аудитором Мухановым. Таким образом, все остались довольны, кроме бедного, обманутаго почтмейстера, который, не далее, как чрез месяц, был переведен, только не губернским, а уездным почтмейстером, кажется, в Енисейскую губернию и, конечно, вынужден был подать в отставку, так как ехать в такую даль с больной женой и двумя детьми было невозможно. Поручик же Кошкуль, как бы за храбрость и победу, одержанную над почтмейстером, произведен был в штаб-ротмистры и прикамандирован к Кавалергардскому полку, где, впрочем, через год, был разжалован в рядовые. За какие деяния он был разжалован - не знаю, потому что слухи у нас в полку были разноречивые, но, разумеется, не лестные для Кошкуля.

Наступил конец 1840 года, и с ним можно окончить мое описание быта кантонистов. Четыре года я и товарищи мои пробыли в школе, носившей название Ланкастерской и ровно ничего не вынесли из нея. Собирали нас в дивизионные и корпусные комплекты, для чего водили за 150 верст в Чугуев, где в комедийном корпусе была и артиллерия с деревянными пушками, обитыми медными листами; даже из затравок порох пшикал, когда восемь человек кантонистов, запряженных в шлейки, как лошади, в карьер выскакивали на позицию. Куклы исполняли движения и куклы командовали, начиная от взводного и до корпусного командиров; всякую ломку и постройку фронта нужно было знать наизусть. Даже те кантонисты, которые были с бельмами на глазах, и которые на действительную службу поступали в деньщики и госпитальные служителя, не были избавлены от командования дивизиями и полками, но писать не умели. Не лучше ли бы было, если уже нельзя было нас учить чему-нибудь путному, то по крайней мере учили бы портняжеству и сапожничеству, за что каждый из нас сказал бы им спасибо. А то учили нас командовать корпусами, дивизиями и полками! Нас прибывало и убывало в каждом корпусе на действительную службу за известный период времени, десятки, тысячи. А многие ли из нас попали хотя бы в пехотные прапорщики? Человек десять из корпуса, не больше. Какой же это процент? Не

знаю и за верность не ручаюсь, но я слышал это от офицеров, что нас ничему не учили с политической целью, я повторяю только то, что мне говорили. Да мне, кажется, что иначе и быть не могло.

1840 года, декабря 27-го дня, состоялся приказ по полку, который гласил, что я зачислен рядовым в Кирасирский ея высочества Марии Николаевны полк, в 3-й эскадрон.

М. Кретчмер.

